



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

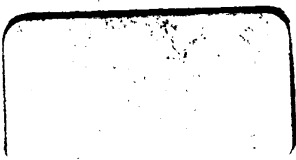
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4341.2.801



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY



2409ⁿ/73

Каб-11

Дмитрій Васильевичъ ГРИГОРОВИЧЪ.

$\frac{1X}{60.}$

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Цена 25 коп.



МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и Д. Совко.
Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., д. Лисснера.

1905.



Slav 4341.2.801
✓



Доволено цензурою. Москва, 24 ноября 1904 г.

175-72

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стран.</i>
Домашнее учение и школьные годы Григоровича, <i>Архангельскаго</i> . .	1
Литературные связи и кружки, способствовавшіе развитію таланта Григоровича, <i>его же</i>	3
Путешествіе Григоровича и остальные годы его общественной и лите- ратурной дѣятельности, <i>Бороздина</i>	11
Общій обзоръ литературной дѣятельности Григоровича, <i>Мизина</i> . .	14
Особенности творчества Григоровича, <i>его же</i>	17
Художественныя произведенія изъ народнаго быта въ ихъ отношеніи къ дѣйствительности, <i>Анненкова</i>	38
„Деревня“, <i>Изъ „Воспоминаній“ Григоровича</i>	43
Общее содержаніе повѣсти „Деревня“, <i>Семевскаго</i>	44
Новизна содержанія „Деревня“ и произведенное ею впечатлѣніе, <i>Изъ „Филологическихъ Записокъ“ за 1900 и 1902 гг.</i>	45
Антонъ Горемыка, <i>Острогорскаго</i>	46
Отношеніе публики и критики къ „Антону Горемыкѣ“, при первомъ появленіи этой повѣсти въ печати, <i>Изъ Филологическихъ Записокъ за 1900 и 1902 гг.</i>	48
„Бобыль“, <i>Семевскаго</i>	49
Свѣтлыя и темныя стороны жизни крестьянина-пахаря по сочиненіямъ Григоровича: „Пахарь“, „Четыре времени года“, „Кошка и Мышка“, „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, „Мать и дочь“ и „Бобыль“, <i>Острогорскаго</i>	50
Художественная сторона и идея романа „Рыбаки“, <i>Анненкова</i> . . .	58
Картины русской природы и крестьянскаго быта въ романѣ „Рыбаки“ <i>Изъ „Отеч. Записокъ“ 1953 г.</i>	62
Общее содержаніе и характеристики дѣйствующихъ лицъ въ „Пере- селенцахъ“, <i>Изъ „Библиотеки для чтенія“ за 1857 г.</i>	77
Природа въ произведеніяхъ Григоровича, <i>Щукина</i>	85
Григоровичъ и Тургеневъ, <i>Острогорскаго</i>	90
Значеніе литературной дѣятельности Григоровича, какъ народнаго писателя, <i>Архангельскаго</i>	95
Художественное и общественное значеніе сочиненій Григоровича, <i>Миллюкова</i>	96
Воспитательное значеніе сочиненій Григоровича, <i>Щукина</i>	104
Общественное настроеніе сороковыхъ годовъ и отраженіе его на ли- тературной дѣятельности Григоровича, <i>его же</i>	106
Отношеніе Григоровича къ своимъ предшественникамъ, <i>его же</i> . . .	108
Значеніе Григоровича въ области живописи и художественной про- мышленности, <i>А. О.</i>	110



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Домашнее учение и школьные годы Григоровича.

Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ родился 19 марта 1822 года.

Трудно представить для начального воспитанія и развитія будущаго „народнаго“ писателя болѣе неблагопріятныя условія, чѣмъ тѣ, какія окружали Григоровича въ ранніе годы его жизни. Отецъ, — родомъ малороссъ, отставной гусарь, помѣщикъ, — умеръ вскорѣ послѣ рожденія ребенка, и воспитаніе послѣдняго всецѣло пало на обязанности матери — француженки-эмигрантки, или, вѣрнѣе, бабушки со стороны матери — шестидесятилѣтней старухи-француженки, поклонницы Вольтера, „насквозь пропитанной понятіями, господствовавшими во Франціи въ концѣ прошлаго вѣка“, черствой, безсердечной женщины, считавшей себя къ тому же очень опытной въ дѣлѣ воспитанія, изъ полного подчиненія которой во всю жизнь не выходила ее дочь, мягкая, уступчивая по характеру, мать писателя.

Раннее дѣтство Григоровича протекло въ деревнѣ — небольшомъ имѣніи въ Каширскомъ уѣздѣ Тульской губерніи, куда семья переехала еще при жизни отца. Воспитаніе носило исключительно французскій характеръ. До восьмилѣтняго возраста у Григоровича не было въ рукахъ ни одной русской книжки; ребенка заставляли зубрить французскіе глаголы, твердить вокабулы и т. д. Русской грамотѣ будущій писатель научился отъ своихъ дворовыхъ крестьянъ, преимущественно отъ стараго отцовскаго камердинера Николая, который любилъ ребенка, какъ будто бы онъ былъ „десять разъ его роднымъ сыномъ“. Ребенокъ былъ неразлученъ съ Николаемъ. „По цѣлымъ часамъ — вспоминаетъ писатель — караулилъ онъ, когда меня пустять гулять, бралъ

на руки, водилъ по полямъ и рощамъ, рассказывалъ разныя приключенія и сказки... За весь холодъ и одиночество моей дѣтской жизни я отогрѣвался только, когда былъ съ Николаемъ. Когда рѣшено было везти меня въ Москву и наступила минута разставанья съ Николаемъ, я, какъ изступленный, съ крикомъ бросился ему на шею, истерически рыдалъ, кричалъ и такъ крѣпко обхватилъ его руками, что пришлось силой меня оторвать“.

Повидая родительскій кровъ, ребенокъ, „плохо читалъ по-русски“ и притомъ съ „иностраннымъ акцентомъ, чѣмъ вызывалъ насмѣшки своихъ сверстниковъ-товарищей. Впрочемъ, помимо вліянія Николая, въ обстановкѣ ранняго дѣтства будущаго писателя были и нѣкоторые другія условія, которыя также должны были парализовать общій господствовавшій тонъ воспитанія и дѣйствовать на ребенка благотворно. Его мать жила въ деревнѣ довольно уединенно; она мало водилась съ сосѣдами-помѣщиками и, напротивъ, очень близко ставила себя къ быту простого народа. По всему уѣзду, среди сосѣднихъ крестьянъ, она извѣстна была какъ весьма искусная „лѣкарка“, и къ ней отовсюду изъ окрестныхъ мѣстъ приходило и пріѣзжало множество простого народа, не только за совѣтами, но часто и за лѣкарствами. Вообще, домашняя обстановка Григоровича не носила обычнаго тогдашняго помѣщичьяго характера, и, по словамъ писателя, „не имѣла ничего общаго съ бытомъ сосѣдей-помѣщиковъ того времени“. Крестьяне здѣсь были отпущены на оброкъ еще Григоровичемъ-отцомъ, и ребенку не приходилось около себя видѣть тяжелыхъ картинъ злоупотребленія помѣщичьей властью. Напротивъ, рассказы, которые иногда приходилось ему слышать объ этихъ злоупотребленіяхъ, всегда производили на него сильное впечатлѣніе. „Въ нашемъ домѣ, — замѣчаетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ писатель, — и тѣни не было ничего подобнаго“.

Иностранный характеръ продолжаетъ сохранять воспитаніе и нѣсколько лѣтъ послѣ переселенія ребенка изъ родительскаго дома въ Москву, куда лѣтъ десяти увозятъ его для помѣщенія, сначала въ одной изъ гимназій, потомъ, вскорѣ, когда въ гимназій ребенокъ заболѣлъ и его должны были взять, — въ одномъ изъ частныхъ иностранныхъ пансіоновъ. Собственно это былъ не пансіонъ; Григоровичъ былъ помѣ-

щенъ въ иностранномъ семействѣ, у одной содержательницы моднаго магазина (г-жи Монигетти), у которой было три сына: желая дать имъ образованіе, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, желая, „чтобъ оно обошлось дешевле“, она придумала брать къ себѣ на домъ воспитанниковъ; за извѣстную годовую плату они пользовались помѣщеніемъ, столомъ и урокомъ. Атмосфера въ семьѣ была артистическая; она отражалась и на воспитаніи дѣтей. Въ ряду другихъ элементарныхъ предметовъ дѣтей учили рисованію и танцамъ; старшій сынъ хозяйки готовился къ поступленію въ Академію Художествъ. Преподаваніе происходило на французскомъ языкѣ. У Монигетти Григоровичъ пробылъ три года. Его умственные способности за это время, по его собственному сознанию, „не подвинулись ни на одинъ градусъ“. Особенно хромало попрежнему знаніе русскаго языка: мальчикъ не былъ въ состояніи „сочинить и написать по-русски самаго простаго дѣтскаго письма“; къ матери онъ писалъ по-французски...

Въ 1835 г. Григоровичъ былъ переведенъ въ Петербургъ: мать рѣшила отдать его въ Инженерное училище. Съ переводомъ въ Петербургъ французскій характеръ образованія замѣняется русскимъ; въ подготовительномъ пансіонѣ, куда помѣщенъ былъ Григоровичъ и гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ, все преподаваніе шло на русскомъ языкѣ; къ тому же учитель русскаго языка, „сжалившись“ надъ ребенкомъ, обратилъ на него особенное вниманіе: „онъ, — вспоминаетъ писатель, — принялся за меня съ особымъ усердіемъ, заставлялъ писать подѣ диктовку, исправлялъ мою рукопись, разъяснял ошибки“...

Въ 1836 году Григоровичъ, хотя и съ трудомъ, выдержалъ экзаменъ въ училище и сдѣлался „кондукторомъ“ (такъ назывались воспитанники училища въ отличіе отъ кадетъ). Поступленіе его сюда было, впрочемъ, ошибкой. Григоровичъ съ дѣтства не чувствовалъ ни малѣйшей склонности къ математикѣ и вообще къ точнымъ наукамъ; математика ему совсѣмъ не давалась. Его влекло искусство, и въ училищѣ съ охотой и серьезно онъ занимается только имъ. Григоровичъ бралъ отдѣльные уроки у акад. Тамаринскаго и подѣ его руководствомъ цѣлые дни проводилъ за рисованіемъ, горя желаніемъ „вырваться на волю“, освободиться отъ ненавистныхъ обязательныхъ наукъ. „Пройдя какимъ-то

образомъ во второй классъ, предшествующій послѣднему, я пришелъ къ сознанію, — говоритъ писатель въ своихъ „Воспоминаніяхъ“, — что дальше идти нѣтъ мнѣ возможности. Логарисмы окончательно меня сокрушили; зная, что впереди меня ожидаютъ еще какія-то страшныя дифференціальныя исчисленія, я рѣшился во что бы то ни стало упротить матушку (главнымъ образомъ, бабушку), взять меня изъ училища „... Одинъ случай съ трагикомическими послѣдствіями помогъ несчастному инженеру, и Григоровичъ поступилъ въ Академію Художествъ.

Общее образованіе и развитіе будущаго писателя, за время пребыванія его въ Инженерномъ училищѣ, впрочемъ, значительно подвинулось. Главнымъ образомъ онъ былъ обязанъ этимъ случайному обстоятельству: въ одно время съ нимъ „кондукторомъ“ училища былъ и другой будущій русскій писатель, — Ф. М. Достоевскій. Серіозностью возрѣній и вообще развитіемъ послѣдній значительно превосходилъ товарищей. Григоровичъ быстро подпадаетъ его вліянію, — весьма благотворному, по словамъ самого Григоровича. „Достоевскій во всѣхъ отношеніяхъ былъ выше меня по развитости, — замѣчаетъ онъ въ „Воспоминаніяхъ“, — его начитанность изумляла меня. То, что сообщалъ онъ о сочиненіяхъ писателей, имени которыхъ я никогда не слыхалъ, было для меня откровеніемъ... Первыя литературныя сочиненія, читанныя мною на русскомъ языкѣ, были сообщены мнѣ Достоевскимъ“... Умственное превосходство Достоевскаго сказывалось и на другихъ товарищахъ; кромѣ Григоровича, около Достоевскаго образовалось нѣчто въ родѣ литературнаго кружка, „который держался особо и сходился, какъ только выпадала свободная минута“. Членовъ кружка связывала общая страсть къ чтенію: читалось все безъ разбору, что ни попадало подъ руку и что тайкомъ приносилось въ училище. Нерѣдко бывали и литературныя споры, впрочемъ, незамысловатые. „Я вступалъ въ горячій споръ съ Достоевскимъ, — вспоминаетъ, напр., Григоровичъ, — доказывая, что Рафаэль Санціо значитъ Рафаэль святой, такъ прозванный за его великія творенія; Достоевскій доказывалъ, что Санціо обозначаетъ только фамилію художника, — съ чѣмъ я никакъ не хотѣлъ согласиться“...

Помимо вліянія начитаннаго Достоевскаго, Григоровичъ въ это же время, въ бытность свою въ училищѣ, случайно

знакомится съ Некрасовымъ. Послѣдній передъ тѣмъ только что издалъ небольшую книжку своихъ стиховъ („Мечты и звуки“, С.-Пб. 1840), и чтобы чѣмъ-нибудь существовать, занимался передѣлками и переводами французскихъ пьесъ для театра... Знакомство на первыхъ порахъ ограничилось, впрочемъ, лишь простымъ визитомъ.

Григоровичъ и въ Академіи Художествъ пробылъ однако недолго. Достигнувъ того, чего такъ страстно желалъ, Григоровичъ какъ-то скоро охладѣлъ къ искусству... Вынесенныя изъ Академіи впечатлѣнія описаны авторомъ въ повѣсти „Неудавшаяся жизнь“, проникнутой автобіографическимъ характеромъ. Выйдя изъ Академіи, Григоровичъ поступаетъ на службу въ канцелярію директора Императорскихъ театровъ, Геденова.

Такова была „школа“, пройденная Григоровичемъ. Много она не дала, да и не могла дать. Личнымъ усердіемъ и ученикъ похвалиться не могъ: годъ отъ году онъ учился „неохотнѣе, хуже“...

Гораздо больше, чѣмъ школа, будущій писатель былъ обязанъ, повидимому, собственному личному чтенію, — и въ этомъ отношеніи, особенно важнымъ для него было, какъ мы видѣли, вліяніе Достоевскаго... *Архатемскій.*

Литературныя связи и кружки, способствовавшіе развитію таланта Григоровича.

Еще въ Академіи художествъ Григоровичъ началъ увлекаться театромъ, преимущественно, впрочемъ, его кулисами. Эти увлеченія еще болѣе усиливаются на службѣ; послѣдняя даже поддерживала и развивала ихъ... Страсть къ театру теперь чередуется въ будущемъ писателѣ со страстью къ чтенію. Все это приводитъ постепенно молодого театральнаго чиновника къ первымъ литературнымъ работамъ. Послѣднія, впрочемъ, долго носятъ крайне случайный характеръ. Прочитавъ драму Сулье „Eulalie Pentnos“, Григоровичъ дѣлаетъ переводъ на русскій языкъ подъ заглавіемъ „Наслѣдство“; съ грѣхомъ пополамъ пьеса была даже поставлена на сцену. Затѣмъ принимается за передѣлку водевиля „Шампанское и опиумъ“.

Все это сблизило будущего писателя съ литературнымъ міромъ. По поводу названнаго водевиля Григоровичъ знакомится, а потомъ сближается съ В. Г. Зотовымъ, однимъ изъ плодовитыхъ тогдашнихъ театралныхъ писателей и съ его семьей. Литературная атмосфера этого семейства, полная осмысленнаго труда, дѣйствуетъ чрезвычайно благотворно на выступающаго писателя. Черезъ своего пріятеля, артиста Леонова, жившаго въ это время вмѣстѣ съ издателемъ „Энциклопедическаго лексикона“ Плюшаромъ, служившимъ, какъ представитель богатой книжной фирмы, своего рода литературнымъ центромъ, — Григоровичъ знакомится съ послѣднимъ и переводитъ для него съ французскаго небольшія повѣсти и анекдоты. Одновременно съ этимъ Григоровичъ знакомится съ Гречемъ, сыномъ извѣстнаго Н. И. Греча, также передѣлываетъ для него съ французскаго какую-то повѣсть, по собственному выраженію переводчика „верхъ нелѣпости“, тѣмъ не менѣе изданную Гречемъ подъ заглавіемъ: „Эрленбургскій священникъ“. Въ 1842—1843 гг. Григоровичъ возобновляетъ свое знакомство съ Некрасовымъ и на этотъ разъ становится къ нему въ болѣе близкія отношенія. Некрасовъ тогда еще пробивался своими литературными трудами; но его энергія, неутомимая дѣятельность дѣйствовали на всѣхъ необыкновенно возбуждительно. Такое же впечатлѣніе они произвели и на начинающаго писателя. „Жить также своимъ трудомъ, сдѣлаться также литераторомъ, казалось мнѣ“, вспоминаетъ Григоровичъ, „чѣмъ-то поэтическимъ, возвышеннымъ, цѣлью, о которой только и стоило мечтать. Я не давалъ себѣ покоя, придумывая сюжеты для оригинальной повѣсти“.

У писателя является „страстное желаніе написать что-нибудь свое“. Некрасовъ поддерживалъ и развивалъ это страстное стремленіе къ литературному труду и немедленно сдѣлалъ Григоровича въ своихъ литературныхъ предпріятіяхъ ближайшимъ помощникомъ. Впрочемъ, Некрасовъ въ этомъ случаѣ больше дѣйствовалъ, кажется, съ чисто эгоистической, коммерческой цѣлью. Онъ сталъ поручать молодому человѣку, стремившемуся къ литературному труду, разныя работы для различныхъ издававшихся имъ тогда книжекъ, альманаховъ и сборниковъ. Такъ, по порученію Некрасова, Григоровичъ изъ десяти французскихъ брошюръ, трактовавшихъ о тан-

цахъ польки и „редовы“, составляетъ одну, подъ заглавіемъ (оно было придумано заранѣе Некрасовымъ) „Полька въ Петербургѣ“; пишетъ, по порученію Некрасова, предисловіе къ сборникамъ: „Зубоскаль“, „Первое апрѣля“, составляетъ брошюру о Крыловѣ и т. д. Къ этому времени относится появленіе въ печати первыхъ разсказовъ Григоровича: „Театральная карета“, „Собачка“, „Штука полотна“. Последняя была помѣщена также въ одномъ изъ сборниковъ Некрасова.

Такого рода литературная дѣятельность, однако, не удовлетворяла выступавшаго писателя. Къ этому времени почти уже окончательно сложились литературные взгляды и стремленія Григоровича. Своимъ идеаломъ онъ ставитъ Гоголя. „Писать наобумъ, дать волю своей фантазіи, сказать себѣ: „и такъ сойдесть“, казалось мнѣ, — пишетъ онъ объ этомъ времени, — равносильнымъ безчестному поступку. У меня, кромѣ того, — продолжаетъ онъ, — тогда уже пробуждалось влеченіе къ реализму, желанію изображать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ представляется, какъ ее описываетъ Гоголь въ „Шинели“, повѣсти, которую я съ радостію перечитывалъ“.

„Около этого времени, — рассказываетъ Григоровичъ, — въ иностранныхъ книжныхъ магазинахъ стали во множествѣ появляться небольшія книжки подъ общимъ заглавіемъ: „физиологіи“, каждая книжка заключала описаніе какого-нибудь типа жизни. Родоначальникомъ такого рода описаній служило извѣстное парижское изданіе: „Французы, описанные сами собой“. У насъ тотчасъ явились подражатели. Некрасову, практическій умъ котораго всегда стоялъ на сторожѣ, пришла мысль издать что-нибудь въ этомъ родѣ; онъ придумалъ изданіе въ нѣсколькихъ книжкахъ: „Физиологія Петербурга“. Сюда, кромѣ типовъ, должны были войти бытовые сцены и очерки изъ петербургской уличной и домашней жизни. Некрасовъ обратился ко мнѣ, прося написать для перваго тома одинъ изъ такихъ очерковъ“. Со стороны Некрасова это была первая важная услуга, оказанная начинавшему писателю: онъ натолкнулъ послѣдняго на первый серіозный литературный трудъ... Григоровичу пришла мысль взять для описанія бытъ петербургскихъ шарманщиковъ; рѣшившись остановиться на этой трудной задачѣ, онъ приступилъ къ ея выполненію съ пріемами самаго строгаго натуралиста. „Я прежде всего, рассказываетъ онъ, занялся

собираніемъ матеріала. Около двухъ недѣль бродилъ я по цѣлымъ днямъ въ трехъ Подъяческихъ улицахъ, гдѣ преимущественно селились тогда шарманщики, вступалъ съ ними въ разговоръ, заходилъ въ невозможныя трущобы, записывалъ потомъ до мелочи все, что видѣлъ и о чемъ слышалъ. Обдумавъ планъ статьи и раздѣливъ его на главы, я, однакожъ, съ робкимъ, неувѣреннымъ чувствомъ приступилъ къ описанію. Результатомъ изученій былъ очеркъ „Петербургскіе шарманщики“, помѣщенный въ первой части изданнаго Некрасовымъ въ 1845 г. сборника: „Физиологія Петербурга,“ — первая работа, которая обратила вниманіе Бѣлинскаго на молодого писателя и которая поставила послѣдняго на его настоящую дорогу.

Вмѣстѣ съ окончательнымъ выясненіемъ литературныхъ стремленій, около этого времени совершается общій переломъ въ умственной жизни нашего писателя. Связи его съ Достоевскимъ теперь особенно усиливаются. Теперь они даже живутъ на одной квартирѣ. У нихъ было двѣ комнаты съ кухней; одну комнату занималъ Достоевскій, другую — Григоровичъ. Прислуги не было; самоваръ ставили сами, за булками и другими припасами отправлялись тоже сами. Каждый получалъ приблизительно рублей по 50, но денегъ этихъ имъ хватало лишь на первыя двѣ недѣли, — послѣднія двѣ передъ получкою не обѣдали, а пробавлялись лишь ячменнымъ кофе съ бѣлымъ хлѣбомъ и чаемъ. Это было время, когда Достоевскій оканчивалъ свой знаменитый романъ: „Бѣдные люди“. Вмѣстѣ съ Достоевскимъ Григоровичъ увлекается теперь Бальзакомъ. Достоевскій только что передъ тѣмъ окончилъ переводъ „Евгенія Грандэ“. И Достоевскій и Григоровичъ ставятъ въ это время Бальзака выше всѣхъ современныхъ французскихъ писателей.

Около того же времени Григоровичъ знакомится съ кружкомъ братьевъ Бекетовыхъ. Послѣднее было рѣшительнымъ моментомъ въ умственномъ развитіи писателя. Григоровичъ такъ рассказываетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“: „Собирались, большею частію, вечеромъ. При множествѣ посѣтителей (сходилось иногда до пятнадцати человѣкъ) бесѣда рѣдко могла быть общеою; рѣдко останавливались на одномъ предметѣ, — развѣ уже выдвигался вопросъ, который всѣхъ одинаково затрогивалъ; большею частію раз-

бывались на кучки и въ каждой шелъ свой отдѣльный разговоръ. Но кто бы ни говорилъ, о чѣмъ бы ни шла рѣчь, — касались ли событій въ Петербургѣ, въ Россіи, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопросъ, — во всемъ чувствовался приливъ свѣжихъ силъ, живой нервъ молодости, проявленіе свѣтлой мысли, внезапно рожденной въ увлеченіи разгоряченнаго мозга; вездѣ слышался негодующій, благородный порывъ противъ несправедливости... Кружку Бекетова, — продолжаетъ писатель, — я многимъ обязанъ. До того времени, какъ я сдѣлался постояннымъ его членомъ, мои мыслительныя способности облекались точно туманомъ. Бесѣды съ Достоевскимъ никогда не переходили предѣловъ литературы; весь интересъ жизни сосредоточивался на ней одной. Читалъ я, правда, много, но читалъ безъ всякаго выбора, — все, что попадало подъ руку, читалъ исключительно романы, повѣсти, жизнеописанія художниковъ. Я ни надъ чѣмъ не задумывался сколько-нибудь серіозно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался въ жизнь, отдаваясь минутному увлеченію. Многое, о чемъ не приходило мнѣ въ голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія, я впервые услышалъ только здѣсь, въ кружкѣ Бѣлинскаго. Успѣхъ моего умственного развитія выразился уже тѣмъ, что моему самолюбію было больно за мою отсталость противъ многихъ изъ бывшихъ товарищей. Литературными моими попытками и тѣмъ, что онѣ печатались, нечѣмъ было гордиться; я вполне уже сознавалъ ихъ незначительность и незрѣлость. Последнюю мою повѣсть „Сосѣдка“, написанную въ промежутокъ этого времени, я почти стыдился признавать за свою. Я чувствовалъ, что дальше такъ итти нельзя, что каждый, пожалуй, опередитъ меня, и я останусь затеряннымъ. Внутренній голосъ подсказывалъ мнѣ, что во мнѣ что-то есть, что я могу что-то сдѣлать, могу пойти впередъ, — но для этого нужны другія условія, нужно прежде всего, разстаться съ праздною жизнью и оставить Петербургъ. Я такъ и сдѣлалъ. Написавъ ма-тушкѣ о моемъ намѣреніи, я въ 1846 году съ наступленіемъ весны, уѣхалъ въ деревню“.

Послѣ четырехмѣсячнаго усидчиваго труда была готова задуманная имъ повѣсть, и авторъ повезъ ее въ Петербургъ.

Повѣсть носила заглавіе: „Деревня“, и въ томъ же 1846 г. была напечатана въ декабрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“.

Время появленія „Деревни“ и „Антоня Горемыки“ было медовымъ мѣсяцемъ въ литературной жизни Григоровича. Прославленные повѣсти сблизили автора съ молодымъ кружкомъ редакціи „Современника“. Григоровичъ особенно сближается съ Боткинымъ и Дружининымъ; сближается также съ В. Майковымъ, Далемъ, Сахаровымъ, Гребенкой; входитъ въ кружокъ князя Вл. Ѳ. Одоевскаго, гр. В. А. Соллогуба; въ Москвѣ знакомится съ Н. Ф. Павловымъ, Н. И. Озеровымъ. Возвеличенный отзывомъ и восторгами Бѣлинскаго, Григоровичъ рѣшается окончательно посвятить себя изученію народной жизни и вскорѣ надолго поселяется въ деревнѣ. Годы 1847—1855, проведенные Григоровичемъ въ деревенскомъ уединеніи,—годы наиболѣе усиленной его литературной дѣятельности; послѣ двухъ знаменитыхъ повѣстей, этими годами исчерпывается почти вся послѣдующая литературная дѣятельность Григоровича. Его произведенія теперь быстро слѣдуютъ одно за другимъ, съ необыкновенной плодовитостью. За этотъ періодъ въ печати являются рассказы, повѣсти и романы: „Бобыль“ (1847) и „Капельмейстеръ Сусликовъ“ (1848), „Похожденія Накатова или недолгое богатство“ (1849), „Четыре времени года“ (1849), „Неудавшаяся жизнь“ (1850), „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, — простонародное повѣрье (1851), „Свистульникъ“, — фیزیологическій очеркъ (1851), „Мать и дочь“ (1851), „Проселочныя дороги“, — романъ безъ интриги (1852—1853), „Смедовская долина“ (1852), „Зимній вечеръ“ (1852), „Рыбаки“ (1853), „Прохожіи“, — святочный рассказъ (1854), „Столичные родственники“ (1856), „Пахарь“ (1856), „Школа гостепріимства“ (1857), „Переселенцы“ (1855—1856) и нѣсколько позже: „Въ ожиданіи порома“ (1857), „Пахотникъ и бархатникъ“ (1859) и нѣк. др.

Весной 1858 года Григоровичъ покидаетъ деревню и отъ мирнаго сельскаго коноплянника отправляется, по порученію морского министерства, въ морское путешествіе кругомъ Европы.

Архатемскій.

Путешествіе Григоровича и остальные годы его общественной и литературной дѣятельности.

Въ 1858 году Григоровичъ совершилъ путешествіе въ эскадрѣ Средиземнаго моря. Замѣтки объ этомъ путешествіи отличаются яркостью красокъ, множествомъ любопытныхъ бытовыхъ наблюденій и порой очень удачнымъ юморомъ. Правда, и здѣсь много такихъ подробностей, которыя имѣютъ анекдотическій характеръ; но здѣсь эта анекдотичность, неприятно дѣйствующая на читателя въ романахъ и повѣстяхъ Григоровича, оказывается очень кстати и придаетъ еще болѣе интереса описанію, такъ что „Корабль Ретвизантъ“ занимаетъ, несомнѣнно, одно изъ почетныхъ мѣстъ среди русскихъ путешествій и можетъ быть поставленъ вслѣдъ за Гончаровскимъ „Фрегатомъ Палладой“, этимъ *chef d'œuvre* литературы подобнаго рода. Одной изъ важныхъ особенностей, сближающихъ оба эти описанія, является стремленіе къ параллелямъ между своимъ русскимъ и заграничнымъ, но у Григоровича это стремленіе сильнѣе, чѣмъ у Гончарова, и оно приводитъ его очень часто къ самымъ грустнымъ размышленіямъ о нашей бѣдности и культурной отсталости, при чемъ, конечно, болѣе всего припоминается ему излюбленный имъ деревенскій бытъ.

По возвращеніи изъ морского путешествія Григоровичъ началъ печатать въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ новое свое произведеніе, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить два поколѣнія: отживающихъ помѣщиковъ стараго закала и новыхъ, молодыхъ, мечтающихъ о сближеніи съ народомъ; однако была напечатана только первая часть, подъ заглавіемъ „Два генерала“, и широкій планъ остался невыполненнымъ. Здѣсь прежде всего помѣшали хозяйственные дѣла, такъ какъ мать Григоровича передала ему управленіе имѣніемъ, а это было сопряжено съ массою хлопотъ. Въ результатѣ этого хозяйничанья выяснилось, что оно не можетъ обезпечить Григоровича, и что, по его выраженію, надо предпринять что-нибудь рѣшительное. „Расчитывать на литературный трудъ“, говоритъ Григоровичъ, „для меня рискованно: я писалъ медленно, копотливо; плата была тогда умѣренная. Я помню очень хорошо, что когда въ „Современникѣ“ Тургеневу, Гончарову и мнѣ назначена была плата по шестидесяти рублей

съ листа, въ редакціяхъ другихъ журналовъ поднялся страшный гвалтъ; говорили, что при такихъ безумныхъ платахъ нѣтъ возможности издавать журналъ, что это равно разоренію и т. д. Я рѣшился ѣхать въ Петербургъ и искать мѣста, которое не мѣшало бы мнѣ продолжать мои литературныя занятія. Однако литературнымъ занятіямъ суждено было прекратиться: Григоровичъ на 20 лѣтъ замолчалъ. Литературной работѣ помѣшали и хозяйственныя хлопоты и новая служба, очень подходившая къ исконнымъ художественнымъ вкусамъ Григоровича и цѣликомъ поглощавшая его время, и, наконецъ, для наиболѣе важныхъ литературныхъ работъ Григоровича уже прошла пора: врагъ, противъ котораго онъ боролся болѣе десяти лѣтъ, былъ уже сломленъ и доживалъ послѣдніе свои дни въ ожиданіи 19-го февраля.

Въ поискахъ службы Григоровичъ обратился къ С. А. Геденову, директору Императорскаго Эрмитажа. „Должность секретаря Эрмитажа была: мнѣ предложена съ величайшею готовностью; полагалось при этомъ только условіе: прежде чѣмъ получить это мѣсто, я долженъ былъ сдѣлать описаніе всѣхъ отдѣленій Эрмитажа въ такой формѣ, чтобы оно могло служить руководствомъ для посѣтителей. Часть осени и зиму я провелъ за этою работою. Когда она была окончена и напечатана подъ заглавіемъ „Прогулка по Эрмитажу“, я узналъ, что обѣщанное мнѣ мѣсто отдано дальнему родственнику тогдашняго начальника Геденова. Почти въ то же время происходили выборы въ секретари общества поощренія художествъ. Оно было мнѣ предложено, и я охотно согласился; новая обязанность приближала меня къ художественной сферѣ, близкой моему вкусу. Я думалъ найти время продолжать литературныя занятія, но ошибся. На свѣтѣ нѣтъ маленькаго дѣла: все зависитъ отъ того, насколько примешь его къ сердцу и будешь ему искренно преданъ. Дѣло, порученное мнѣ, заинтересовало меня съ самаго начала, и чѣмъ больше я входилъ въ него, тѣмъ больше оно меня завлекало. Планы различныхъ романовъ и повѣстей лежали пока подъ спудомъ; я и при другихъ, болѣе благопріятныхъ, условіяхъ никогда не могъ написать строчки въ Петербургѣ, теперь же и по-прежнему нельзя было объ этомъ думать“. Время Григоровича цѣликомъ поглощалось художественными выставками, организаціей музея общества поощренія художествъ, заботами о

рисовальной школы. Последняя может называться сжело его дѣтищемъ, — столько онъ положилъ въ нее труда. Не знаемъ, вышли ли изъ нея замѣчательные живописцы, но огромная ея заслуга передъ русскимъ обществомъ заключается въ распространеніи въ массѣ извѣстныхъ художественныхъ свѣдѣній, въ выработкѣ извѣстнаго эстетическаго вкуса, и въ этомъ дѣлѣ, конечно, первая роль принадлежитъ главному руководителю школы. О томъ, съ какою любовью относился Григоровичъ къ этому своему дѣтищу, мы можемъ узнать изъ воспоминаній бывшей ученицы школы. Вотъ одинъ характерный эпизодъ: „Очень интересенъ былъ обзоръ древней скульптуры въ Эрмитажѣ подъ руководствомъ Григоровича. Зайдя въ концѣ мая въ школу, онъ предложилъ ученицамъ собраться на другой день послѣ экзаменовъ въ Эрмитажъ. Собралось всего 12 человекъ, и мы начали обзоръ нижнихъ галлерей древней скульптуры. Осматривали все очень внимательно. Григоровичъ объяснялъ чрезвычайно толково, съ знаніемъ дѣла, ясно, просто, краснорѣчиво, обращая вниманіе на многое, прежде нами уже видѣнное, но пропускавшееся безъ вниманія. Перейдя затѣмъ во второй этажъ, мы и тамъ останавливались только передъ статуями, рѣшившись этотъ день посвятить исключительно скульптурѣ“. Само собою разумѣется, что такихъ прогулокъ бывало немало, и вполне понятно ихъ высокое эстетически-образовательное значеніе для довольно разношерстнаго состава учениковъ школы.

Ясно, что всѣ эти заботы и хлопоты не могли оставлять досуга для литературной дѣятельности. За весь двадцатилѣтній періодъ пріостановки Григоровичемъ написано было лишь два разсказа, но съ 1882 г. писательская работа возобновляется, а за послѣдніе годы появились, кромѣ „Литературныхъ воспоминаній“, заключающихъ любопытный матеріалъ не только для біографіи Григоровича, но и для характеристики многихъ литературныхъ дѣятелей, и такія замѣчательныя вещи, какъ „Гуттаперчевый мальчикъ“ и „Акробаты благотворительности“. Въ этихъ произведеніяхъ послѣднихъ годовъ передъ нами тотъ же Григоровичъ, какимъ онъ былъ и до перерыва своего писательства. Тѣ же достоинства и тѣ же недостатки. Изъ достоинствъ, конечно, ярче всего свѣтитса его гуманизмъ, или филантропія. На нашъ взглядъ, сохраненіе этого гуманизма до глубокой старости и въ такую

притомъ эпоху, когда все, казалось, ополчилось противъ гуманизма, когда выступало яростное человѣконенавистничество, — есть признаки рѣдкой духовной свѣжести. Изъ устъ Григоровича намъ звучалъ тотъ ободряющій голосъ лучшихъ временъ нашей литературы, который и въ жизни совершилъ столько хорошаго... Пусть даже будетъ признано, что по таланту Григоровичъ былъ писатель второстепенный, но все же его человѣчность есть нѣчто настолько свѣтлое, его боевая работа дала въ свое время такіе благіе результаты, что его имя навсегда останется въ ряду славныхъ именъ подвижниковъ нашей литературы и общественного прогресса.

Бороздинъ.

Общій обзоръ литературной дѣятельности Григоровича.

Какимъ разнообразіемъ дышать всѣ его произведенія за все время. Предположимъ, вы берете для чтенія его первыя повѣсти 40-хъ годовъ. Пробѣгая ихъ, вы не имѣете возможности сосредоточиться на одномъ какомъ-нибудь лицѣ, на одномъ опредѣленномъ мѣстѣ. Предъ вами не одна Обломовка или Малиновка, какъ у Гончарова, не два-три выдающихся героя; напротивъ, въ этихъ мелкихъ эскизахъ васъ поразитъ большое разнообразіе лицъ, мѣстностей, сценъ. Вы начали читать повѣсти одну за другой, и пестрый калейдоскопъ очутился предъ вашими глазами. Иногда вы унесетесь съ поэтомъ на одну изъ отдаленныхъ петербургскихъ улицъ, къ высокимъ стѣнамъ домовъ, къ тусклымъ фонарямъ въ какомъ-нибудь переулкѣ, и здѣсь подъ мѣрные удары дождя по крышамъ и мостовымъ слушаете заунывную музыку бѣднаго шарманщика. Иногда авторъ унесетъ васъ своимъ рассказомъ на четвертый этажъ какого-нибудь Щербакова переулка въ столицѣ, гдѣ собрались два пріятеля-чиновника, гдѣ за стѣной раздается пѣніе:

Ты не бойся, моя радость,
Не грусти, моя краса!

Иногда вы попадаете вмѣстѣ съ авторомъ на именины дочерей какого-нибудь коллежскаго секретаря, гдѣ предъ

вами и три модницы-дочки, и типичная Саввишна, и самъ коллежскій секретарь Тома Томичъ Крутобрюшковъ, и ловкіе танцоры изъ средняго круга. За этимъ сейчасъ же новая картина. Вы очутились въ деревнѣ... Осень. Холодно. Изъ улицы образовалась грязная лужа; густой туманъ затянулъ все село; всѣ крестьяне, спасаясь отъ дождя и вѣтра, сидятъ дома, одна только сиротка Акуля стоитъ у рѣки и сторожитъ своихъ гусей. И передъ вами развертывается вся печальная жизнь этой Акули, начиная съ ея дѣтства и кончая смертью, когда при похоронахъ ее провожаетъ до могилы ея несчастная дочь Дуня. Не успѣли вы отдѣлаться отъ впечатлѣній этой „Деревни“ (такъ называется рассказъ), а предъ вами поэтъ успѣлъ набросать новыя сцены, новыя лица. Предъ вами длинной вереницей проходятъ одна за другой картины изъ жизни несчастнаго Антона-Горемыки: и управляющій, и добрые господа, и сцена на постояломъ дворѣ, ярмарка въ провинціальномъ городѣ, и сцена отправки колодниковъ; все это смѣняетъ одно другое и поражаетъ васъ разнообразіемъ и пластичною красотою рисунка.

Впечатлѣніе отъ „Антон-Горемыки“ еще не исчезло, а вы, перевернувъ нѣсколько страницъ, уже очутились на новомъ мѣстѣ, среди новой обстановки. Предъ вами помещица, кумушки-приживалки, больной старикъ, съ сухощавой грудью, въ дырявой рубахѣ, умирающій за околицей. Отъ „Антон-Горемыки“ вы попали къ бездомному, безпріютному бобылю. Вы находитесь подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ полныхъ трагизма сценъ, вы не можете еще отдѣлаться отъ даващаго васъ кошмара, и вдругъ предъ вами другая картина. Предъ вами провинціальный городъ, провинціальный театръ, старикъ-капельмейстеръ Сусликовъ, провинціальные актеры и трагикъ Громиловъ. Едва вы кончили съ Сусликовымъ, едва успѣли увидать, какъ онъ умиралъ въ комнатѣ станціоннаго зрителя, предъ вами опять деревня; предъ вами, какъ живой, стоитъ въ своемъ синемъ кафтанѣ, въ ситцевой рубашкѣ съ мѣднымъ гребешкомъ за поясомъ, кулакъ-фабрикантъ Никаноръ Ивановичъ. Прошла минута, и вы опять въ Петербургѣ. Вы въ средѣ jeunesse dorée съ улыбкой слушаете разговоръ о продѣлкѣ надъ пріятелями, пустые разговоры о лошадяхъ, о караковыхъ же-

ребцахъ. Вамъ, можетъ-быть, стало скучно. Поэтъ угадываетъ какъ будто это. Онъ васъ уводитъ въ среду художниковъ, въ ресторанъ Юргенса. Кругомъ слышны горячіе споры объ искусствѣ, мечты о славѣ и Италіи. Предъ вами проходятъ тяжелыя сцены изъ жизни неудавшагося талантливаго художника Андреева. Вы видите Андреева, начиная отъ его занятій въ академіи и кончая его печальной жизнью почтмейстера въ какомъ-то глухомъ провинціальномъ городишкѣ.

Но и Андреевъ исчезъ. Вы оставили его съ пріателемъ около кладбища, на которомъ подъ жидкой ветелкой схоронена его сестра, и опять очутились въ деревнѣ. Предъ вами картина села въ Свѣтлое Христово воскресенье, предъ вами Андрей со своей дочерью Ласточкой, предъ вами сельскій храмъ во время заутрени и разложенный костеръ чумаковъ. Вы очутились въ мірѣ народныхъ легендъ, изящно обработанныхъ художникомъ-поэтомъ. Вдругъ предъ вами новая сцена. Вы прогуливаетесь съ авторомъ на берегу Оки, встрѣчаете тамъ порченную и ея мать. Не успѣли вы прочесть эту повѣсть „У порога“, въ ухахъ вашихъ какъ будто все еще раздаются слова несчастной матери: „не отъ человѣка, касатикъ, а отъ Господа Бога“, — предъ вами красавецъ Невскій проспектъ, напудренный, завитой Сви-студькинъ, и комическое происшествіе на балу, неудачная покупка дома, покупка ленточекъ, — все это своимъ комизмомъ развлекаетъ васъ и помогаетъ вамъ отдѣлаться отъ тяжелыхъ сценъ въ повѣсти „Мать и дочь“.

Такъ разнообразны первые мелкіе рассказы и очерки Григоровича, написанные имъ въ сороковыхъ годахъ. Но эти маленькія летучія брошюры были только прелюдіе другихъ, болѣе крупныхъ произведеній. Съ начала 50-хъ годовъ являются большіе романы поэта; онъ выдвигаетъ впередъ, если можно такъ выразиться, свою артиллерию: въ 1852—1853 годахъ онъ обрабатываетъ обширную картину захолустной помѣщичьей жизни — романъ „Проселочныя дороги“. Одновременно почти съ этимъ выходитъ въ свѣтъ лучшее, самое задушевное произведеніе Григоровича — „Рыбаки“ (явилось въ концѣ 1852 года). Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1855—56 г. написаны были „Переселенцы“, вышла эта объемистая повѣсть о несчастной семьѣ переселенныхъ на новыя мѣста

крестьянъ. Какъ будто утомленный долгой работой надъ многолѣтними повѣстями, Григоровичъ въ концѣ 50-хъ годовъ снова ворочается къ своимъ маленькимъ мелкимъ памфлетамъ и пишетъ „Школу гостепріимства“ (1857), „Столичные родственники“ (1856), „Въ ожиданіи порома“ (1857), „Пахарь“ (1856), „Кошка и мышка“ (1857), „Пахотникъ и бархатникъ“ (1859). И, наконецъ, вся эта кипучая литературная дѣятельность Григоровича замыкается крупнымъ произведеніемъ, послѣдней прощальной пѣснью — дневникомъ заграничной поѣздки, „Кораблемъ Ретвизаномъ“. Это было уже предъ самымъ началомъ 60-хъ годовъ. Начало уже свѣтать. Послышался „благовѣсть прощенья“, и старый, какъ будто утомленный поэтъ сложилъ свое перо, ушелъ мирно съ литературной сцены, заснулъ послѣ работы до своего вторичнаго пробужденія. Изъ бойкаго памфлетиста вышелъ исправный секретарь Общества поощренія художествъ, толкователь и знатокъ искусства; Дмитрій Васильевичъ, авторъ „Деревни“ и „Антон-Горемыки“, сталъ прежнимъ художникомъ Митей, и опять „старые мастера“ — художники овладѣли его вниманіемъ. *Мизинговъ.*

Особенности творчества Григоровича.

Въ чемъ заключаются приемы, эта „лѣстница“, приставленная поэтомъ для того, чтобы читатель могъ взобраться по ней до пониманія его произведеній?

Самый любимый первый приемъ Григоровича — это вывести излюбленное идеальное лицо. Идеальныя лица взяты у Григоровича почти всѣ изъ деревни, за исключеніемъ одного разсказа „Неудавшаяся жизнь“, гдѣ идеалистъ взятъ изъ среды культурнаго класса. Впрочемъ, и въ деревнѣ Григоровичъ иногда не находилъ ихъ: по его мнѣнію, человекъ, отставшій отъ деревни, вносившій въ эту обитель мира и идеаловъ смуту, начала городской цивилизаціи, — фабричный непригоденъ былъ для идеальнаго лица: оттого-то типы Захара въ „Рыбакахъ“ и Мишахи въ „Смедовской долинѣ“ отрицательные. Поэтъ искалъ идеаловъ у земли, въ глуши, въ отдаленныхъ деревняхъ. Тамъ, по мнѣнію поэта, и были

всѣ тѣ качества, которыхъ лишена была цивилизація. Что касается до типа Андреева, то появленіе его весьма просто объяснимо: Григоровичъ былъ, сказано, половиной души отданъ спеціально искусству, вотъ почему и явилась идеальная фигура талантливаго художника Андреева. Просматривая произведенія Григоровича, на каждомъ шагѣ видишь идеалистовъ, „сермяжныхъ героев“, какъ называетъ ихъ и самъ Григоровичъ. Сиротка Акуля въ разсказѣ „Деревня“, Катерина въ „Переселенцахъ“, отчасти Дуня въ „Рыбакахъ“ — все это женскіе характеры идеальные. Это лица, съ устъ которыхъ не сорвется ни одного упрека, это идеалы труда, доброты, честности. Обратите вниманіе на Катерину въ „Переселенцахъ“. Это — олицетвореніе труда. Вся семья Тимоеева въ Марьинскомъ держится благодаря ей. Она все устраиваетъ сама на новомъ мѣстѣ поселенія и выполняетъ при этомъ случаѣ данное ею обѣщаніе. Когда въ домѣ нѣтъ лошади, мужъ ея, Лапша, бросаетъ работу, она одна занимается полемъ, достаетъ зерна, лошадей, допахиваетъ ниву. На новомъ поселеніи, за неимѣніемъ другой работы, она ставитъ заплаты на крестьянскія коротайки и этимъ содержитъ семью. Въ Катеринѣ, по Григоровичу, идеаль труда. Но поэтъ не ограничивается этимъ. Суровая съ перваго взгляда, Катерина была одной изъ добрейшихъ натуръ. Она не хуже матери ухаживаетъ за сумасшедшей Дуней; оставить послѣднюю на произволъ судьбы значить, по словамъ Катерины, „грѣхъ принять на душу свою“. Она боится оставить больную на попеченіе господъ; она боится, что безъ нея Дуню закидаютъ грязью даже деревенскіе ребятишки. Катерина добра ко всѣмъ, и поэтому она предлагаетъ все въ распоряженіе пріѣзжаго торгаша. О честности ея не можетъ быть и рѣчи: когда она вступаетъ на скотный дворъ, прекращаются въ первый же мѣсяцъ всякія плутни, и все тамъ идетъ иначе.

Такихъ же идеалистовъ выбираетъ Григоровичъ среди мужскихъ типовъ деревни. Цѣлый рядъ ихъ выведенъ въ его разсказахъ: „славный, добрый, смирный мужикъ“ (по отзыву фабричнаго) Антонъ-Горемыка, Андрей въ разсказѣ „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, больной старикъ въ „Бобылѣ“; Ваня въ „Рыбакахъ“, безкорыстно оплакивающій дядю Акима и охарактеризованный Кондратіемъ въ такихъ словахъ: „добрая

ласковая душа! Памятенъ ему всякъ человѣкъ“, — все это одни идеалы. Сюда же относится Петя въ „Переселенцахъ“, отказывающійся отъ всякихъ процентовъ, Анисимычъ въ „Похарѣ“, Савелій въ „Кошкѣ и мышкѣ“. Чтобы ознакомиться съ идеалами Григоровича, можно остановиться на самыхъ задушевныхъ типахъ поэта — на Глѣбѣ и дѣдушкѣ Кондратіи въ „Рыбакахъ“.

На первый взглядъ лѣбъ, старый рыбакъ Оки, можетъ показаться неидеальнымъ типомъ; его, пожалуй, можно назвать человѣкомъ спекуляціи, барышникомъ. Онъ принимаетъ къ себѣ въ домъ Акима и Григорія. И почему? Здѣсь нѣтъ мѣста какимъ-либо возвышеннымъ идеаламъ, здѣсь все дѣлается изъ расчета: „Глѣбъ, говоритъ Григоровичъ, смекнулъ, что двоихъ выгодно оставить у себя въ домѣ. Акимъ будетъ работать только изъ-за хлѣба, а Григорій въ послѣдствіи можетъ стать лишнимъ столбомъ, опорой и надеждой дома“. Возьмите отношенія Глѣба къ семьѣ; здѣсь опять вездѣ утилитарный взглядъ. Сноха для него только „новая работница на смѣну старухѣ“. Глѣбъ вездѣ крайній экономъ. Какъ ему непріятна свадьба Григорія! Съ горечью съ сердцѣмъ отворяетъ онъ завѣтнымъ витымъ ключомъ сундучокъ въ своей каморкѣ и жертвуетъ на эту свадьбу. Самъ поэтъ замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ про Глѣба, что въ немъ нерѣдко „замѣчался тотъ грубый эгоизмъ, который часто встрѣчается въ семьянистомъ мужикѣ“. Таковы между прочимъ черты Глѣба. Но рядомъ есть еще и другія. Этотъ старикъ, воспитанный среди глуши, среди патріархальнаго быта, удержалъ въ себѣ много старины. Отцовская власть его не знаетъ предѣловъ: въ дѣлахъ хозяйственныхъ, семейныхъ никто не можетъ подать голоса; 20-лѣтніе сыновья не могутъ отойти за версту отъ дома, жену свою онъ пригласилъ только разъ въ жизни посовѣтоваться, отпускать ли изъ дому Гришуху.

Но эти, повидимому, отрицательныя качества стушеваются въ описаніи Григоровича. Отцовская власть Глѣба, мы видимъ, не приводитъ къ худымъ результатамъ. Глѣба нельзя укорять за то, что онъ преслѣдовалъ все дурное въ семьѣ: примѣръ старшихъ сыновей, вышедшихъ изъ-подъ отцовой власти, показываетъ намъ, что осталось безъ Глѣба: Ваня, послѣ возвращенія на родину, узналъ о нихъ, что

они перессорились и проживали, Богъ знаетъ, гдѣ. Что вышло бы изъ Григорія, если бы не было власти старика? Что было бы, намъ извѣстно, потому что извѣстно, что сдѣлалъ Григорій, когда не стало Глѣба. Нельзя, съ другой стороны, строго относиться и къ финансовой оцѣнкѣ лицъ у Глѣба, къ его скопидомству. Человѣкъ, который до 60 лѣтъ, иногда по колѣно въ замерзшей рѣкѣ, добывалъ себѣ гроши и вложилъ въ сундукъ, человѣкъ, не знавшій покоя цѣлую трудовую жизнь, могъ пожалѣть, что его трудовыя деньги идутъ на свадьбу Гришки, свадьбу, не особенно ему пріятную. У Глѣба и не могло быть оцѣнки лицъ другой, кромѣ финансовой: онъ самъ цѣнилъ себя, какъ рабочаго вола, и потому не терпѣлъ, чтобы Акимъ, Григорій или кто другой жилъ на счетъ его стариковскаго труда. Но совсѣмъ иначе поступилъ Глѣбъ съ Кондратіемъ: онъ ясно видѣлъ, что съ Кондратія нечего спрашивать того, что можно спросить съ Григорія, тутъ пропала у него меркантильная точка зрѣнія, и онъ отъ души предлагалъ уголь Кондратію.

Въ другихъ отношеніяхъ старый рыбакъ у Григоровича не возбуждаетъ никакихъ сомнѣній. Это идеаль, „сермяжный герой“. Это такое же олицетвореніе трудолюбія, какъ и другіе герои Григоровича. „Богъ труды любитъ“, — вотъ завѣтъ Глѣба, вотъ то религіозное вѣрованіе, которому оставался всю жизнь вѣренъ рыбакъ Оки. Онъ всегда слѣдуетъ этому завѣту. Лѣтомъ и весной просыпается онъ вмѣстѣ съ жаворонками, зимою и осенью вмѣстѣ съ солнцемъ; онъ не спитъ даже тогда, когда все кругомъ покоится сномъ, когда еще спятъ куры и голуби, завернувши головки подъ свои пушистыя перья. Глѣбъ въ работѣ не отстаетъ отъ здоровой молодежи, отъ сыновей и работниковъ. Убѣжденіе Глѣба не заключается въ томъ, что у человѣка долженъ быть хлѣбъ, потому что есть ротъ; онъ сердечно вѣрилъ, что Бога можно благодарить только молитвой и трудомъ. Наканунѣ смерти этотъ старикъ, подъ проливнымъ дождемъ, ѣдетъ въ лодкѣ по Окѣ и ловитъ неведомъ рыбу. Ока была для него ареной труда, она укачала его силы, но онъ не проклиналъ ее за это: полумертвый, онъ садится на лавкѣ, глядитъ на бурную рѣку и посылаетъ ей прощальный привѣтъ: „Прощай, кормилица! Намъ уже больше не видѣться съ тобой“. Разстаться съ трудомъ, умирать, оставить свой не-

водъ для Глѣба значило слишкомъ много: когда онъ въ послѣдній разъ оторвался отъ лодокъ и черезъ силу пошелъ къ дому, ему казалось, что онъ несетъ на себѣ гробъ близкаго родственника.

Рядомъ съ этимъ беззавѣтнымъ трудомъ въ Глѣбѣ замѣчательная сила характера. „Въ продолженіе 60-лѣтней жизни — говоритъ Григоровичъ — Глѣбъ не зналъ, что значитъ отчаиваться, плавать, убиваться, падать духомъ“. Возьмите сцену прощанія Глѣба съ сыномъ: онъ говоритъ здѣсь женѣ, что лишніе проводы — лишнія слезы; возвратившись домой, онъ не спитъ, не пьетъ, только лежитъ на своихъ вершахъ, и въ то же время говоритъ женѣ: „у меня, — чтобъ я этихъ слезъ не видѣлъ!“ И рядомъ съ этимъ желѣзнымъ характеромъ въ Глѣбѣ какая-то мягкость, веселость: смѣясь онъ работаетъ; поостритъ и надъ Акимомъ и поиграетъ съ дѣтьми; на лицѣ его вы не видите ни постоянной суровости ни грусти. вмѣстѣ съ тѣмъ подъ этимъ желѣзнымъ равнодушіемъ Глѣба скрыты глубокія нравственныя силы. Какъ онъ любилъ своего сына! Онъ не могъ вспомнить о немъ, онъ груститъ о немъ на свадьбѣ пріемыша; онъ, и умирая, говоритъ о немъ: „не забывайте о немъ всѣ; передайте ему мое благословеніе; умиралъ старикъ, скажите, умиралъ, его поминаючи“; вотъ слова, которыя произносилъ умирающій старый рыбакъ.

Въ Глѣбѣ воплотился идеалъ Григоровича, идеалъ чело-вѣка, не тронутаго культурой, представителя глубокой старины. А рядомъ съ этой фигурой стоитъ другая фигура — дѣдушки Кондратія.

Въ этомъ старикѣ не было той физической мощи, какая была въ Глѣбѣ. Захаръ подъ пьяную руку не могъ похвастать предъ своими товарищами шириною плечъ и высотой груди Кондратія, какъ онъ хвасталъ ими въ Глѣбѣ. Но духовный міръ Кондратія выше Глѣбовскаго. Это такой же беззавѣтный поклонникъ труда, какъ и Глѣбъ. „Пока Господь грѣхамъ терпитъ, не отымаешь рукъ, пока глаза видятъ, долженъ всякъ чело-вѣкъ трудиться, какія бы ни были его дѣла; труды наши — та же молитва передъ Господомъ“, — вотъ заповѣдь дѣдушки Кондратія. Онъ трудится, потому что, по его убѣжденію, должна трудиться всякая тварь, начиная съ муравья и мошки и кончая чело-вѣкомъ. Кондратій трудится, потому что въ „трудахъ жили святые отцы“, потому что трудились и сами

апостолы Христовы. Трудиться по Кондратию значило радоваться въ жизнь. И старикъ остался до гроба вѣренъ этому убѣжденію: онъ трудится на озерѣ, трудится пастухомъ, ковыряя лапти, трудится даже тогда, когда отъ старости дрожить рука и кочадыкъ не попадаетъ въ лапти (ему было около 90 лѣтъ). Благодаря труду, Кондратій всегда сохранялъ личную независимость, и его нельзя было попрекнуть взятымъ кускомъ хлѣба; его, напр., Анна и Дуня уговариваютъ перейти къ нимъ, а онъ отвѣчаетъ, что его не оставитъ Богъ, какъ не оставляетъ Онъ маленькихъ пташекъ. Даже его не могъ уговорить въ этомъ и Глѣбъ. „Нѣтъ, видно, тебя не уломаешь“, говоритъ онъ. Если даже Кондратій и сказалъ Глѣбу, что придетъ къ нему послѣ за помощью, то здѣсь не видѣлъ „поклона“: „земля землѣ не кланяется“, сказалъ онъ оригинально въ отвѣтъ.

Такимъ образомъ по идеаламъ Кондратій стоитъ не ниже Глѣба. Но есть пункты, гдѣ личность Кондратія стоитъ выше товарища его. Практическій Глѣбъ узко понималъ слово „трудъ“: книга для него „пустое дѣло“, „доля рыбака не книжки читать, а неводъ таскать“. Вотъ почему Глѣбъ неодобрительно смотрѣлъ на занятія Вани. Почему у Глѣба выработался такой взглядъ, сказать трудно: можетъ-быть, на него подѣйствовалъ примѣръ одного „книжнаго человѣка“, пьяницы Кавычки, и потому-то онъ составилъ себѣ невыгодное понятіе о „грамотникѣ“ или, какъ онъ выражался, „о дьячкѣ“. Дѣдушка Кондратій, наоборотъ, дорожить грамотой; онъ учитъ Григорія и Ваню и называетъ грамоту „добрымъ дѣломъ“. Сколько было радости у Кондратія, когда онъ получилъ письмо отъ Вани послѣ долгой, многолѣтней разлуки. И другія черты Кондратія какъ-то мягче, нѣжнѣе, чѣмъ у Глѣба. У него нѣтъ суровости, строгости отца Вани. Кондратій добродушно обращается съ Дуней, онъ не держитъ ее въ такой опеѣ, какъ Глѣбъ, онъ не соглашается съ Глѣбомъ въ томъ, что Гришкѣ нужно переломать ребра. „Этимъ не поможешь, — говоритъ кротоко Кондратій: — не тронь ты его, пуще не грози, не подымай рукъ, побоями да страхомъ ничего не сдѣлаешь. Переговори лучше добрымъ словомъ, возьми кротостью, терпѣніемъ“. Такъ отвѣтилъ Кондратій на предложеніе Глѣба — погрѣть Гришкѣ бока. Этою-то мягкостью и отличается 90-лѣтній старикъ отъ своего

товарища. Мягкость его сказалась и въ самомъ внѣшнемъ видѣ: это не былъ физически бодрый старикъ, какъ Глѣбъ; Глѣбъ казался ему самому дубомъ, котораго не сломитъ буря; свѣтло-голубые глаза Кондратія смотрѣли съ какою-то дѣтскою простотою, у него не было мужественнаго, энергическаго, румянаго лица Глѣба, не было быстрыхъ пронизывающихъ, плывавшихъ въ минуту досады глазъ, не было пышныхъ черныхъ, кудрявыхъ волосъ Глѣба.

Таковы герои Григоровича въ „Рыбакахъ“. Поэтъ выдвинулъ ихъ; онъ нарочно выставилъ ихъ идеалы, особенно идеалъ труда, чтобы этимъ подкупить читателя, онъ нашелъ ихъ въ той глуши, которую любилъ такъ самъ, въ той глуши, гдѣ, по его словамъ, „хранятся сокровища добра и правды“. Онъ доказалъ читателю, что идеаловъ надо искать въ неиспорченной деревнѣ. Но этого мало. Иной читатель безучастно могъ пройти мимо этого героя, могъ не симпатизировать идеаламъ этихъ поэтическихъ образовъ. Григоровичъ не возбудилъ бы такимъ образомъ симпатіи къ своему герою, тѣмъ болѣе, что краски его иногда такъ радужны, такъ веселятъ глазъ (особенно въ „Рыбакахъ“), что читателю нѣтъ надобности превращаться въ филантропа, въ душѣ его могло бы пробудиться одно даже чувство удовольствія при чтеніи прекрасныхъ картинъ рыбацкой жизни. Наконецъ, самая проповѣдь о трудѣ, извѣстно, всегда, какъ и всякое поученіе, мало даетъ иногда результата. Поэтому нужно было задѣть другія стороны, подѣйствовать съ иной стороны. Отсюда вытекаетъ другой пріемъ Григоровича.

Прочитывая Григоровича, обращая вниманіе на типы сермяжныхъ героевъ, читатель невольно замѣтитъ одну сторону творчества поэта. Оказывается, большинство героевъ Григоровича — это несчастные страдальцы, это идеальные мученики. Для поэта мало выставить идеальныхъ Петю или Катерину, мало этихъ свѣтлыхъ образовъ, успокоивающихъ душу читателя, ему нужно заставить ихъ страдать, ему нужно пробудить въ читателѣ жалобное чувство къ своему сермяжному герою. У Григоровича, можно сказать, вездѣ одно страданіе. У него страдаетъ бѣдный шарманщикъ среди глухихъ улицъ Петербурга; у него страдающей выведена Акуля въ „Деревнѣ“, страдаетъ Антонъ-Горемыка, страдаетъ бобыль, страдаетъ Андрей съ Ласточкой, страдаетъ мать съ су-

машедшей дочерью въ разсказѣ „У порома“; романъ „Переселенцы“ безошибочно можно назвать Одиссеей страданій семьи Лапши. Героевъ Григоровича всѣ обижаютъ, бьютъ; ихъ плохо кормятъ, ихъ бьютъ за cadaго пропавшаго утенка; ихъ бьютъ, такъ сказать, и снаружи и снутри: бьютъ и внѣ дома, бьютъ подъ пьяную руку и домашніе; ихъ посылаютъ черезъ силу работать. Идеалисты Григоровича обливаются слезами; у нихъ нерѣдко исхудалая грудь, они дѣлать часто свою радость только съ животными, они фигурируютъ въ качествѣ колодниковъ; несчастныя идеальныя дѣти у Григоровича дрожать отъ холода, — словомъ, всѣ претерпѣваютъ массу и физическихъ и нравственныхъ страданій. И перо поэта какъ-то особенно умѣетъ отбѣивать эти сцены страданій. Позволю себѣ для примѣра напомнить одну изъ этихъ сценъ. Въ концѣ повѣсти „Деревня“ везутъ на кладбище Акулину. Григорій подвязалъ веревками гробъ къ розвальнямъ, для „куража“ выпилъ немного, приладилъ на край гроба, нахлобучилъ на глаза шапку, махнулъ вожжами и ѣдетъ. Дочь Акулины, Дуня, которая прежде, стояла ли стужа, шелъ ли дождь, пекло ли солнце, всюду ходила за матерью, нарочно въ этотъ день заперта въ камору.

„Вьюга злилась, — продолжаетъ Григоровичъ. — Дорогу заметало. Цѣлыя горы снѣгу разсыпались на голову Григорію. Онъ, ошеломленный виномъ, ни на что не обращалъ вниманія и только хлесталъ и стегалъ клячу, которая, то и дѣло, вязла въ оврагахъ. Вдругъ, посреди завыванія вѣтра и шума метелицы, ему послышались крики. Онъ оглянулся. Въ мутныхъ волнахъ, между сугробами, сломя голову, бѣжала Дунька. Григорій приподнялся на облучкѣ и погрозилъ ей. „Пошла, пострѣлъ, домой! Пошла домой! Замерзнешь. Пошла домой!“ кричалъ онъ и съ остервененіемъ колотилъ клячу. Хмель успѣлъ обуть его. Удары сыпались за ударами. Лошадь несла во всю мочь. Изрѣдка оборачивался Григорій назадъ. „Пошла домой, пострѣлъ! — горланилъ онъ: — Пошла домой! Вотъ я те окаянную!“ А Дунька все бѣжала и бѣжала... „Вьюга становилась сильнѣе. Снѣжные вихри и ледяной вѣтеръ преслѣдовали ребенка, и забирались ему подъ худенькую его рубашонку и обдавали его посинѣвшія ножки и повергали его въ сугробы, но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ... Вой вѣтра становился слышнѣе и слышнѣе. То взрывалъ онъ снѣж-

ные хребты и яростно крутил ихъ въ замутившемся небѣ, то гналъ передъ собой необозримую тучу снѣга и, казалось, силился затопить поля, лѣса, все Кузьминское со всѣми его жителями, амбарами, угодьями и господскими хоромами“.

Въ этой сценѣ — образчикъ художественнаго пафоса Григоровича, образчикъ глубокаго человѣческаго сочувствія къ бѣдному ребенку. Изъ этой сцены видно, какъ умѣетъ поэтъ подбирать мастерски краски для своихъ печальныхъ картинъ. Таковы картины „Деревни“. „Переселенцы“, эта Одиссея страданій, есть цѣлая вереница печальныхъ картинъ съ начала до конца. Поэтъ какъ будто нарочно задался цѣлью ввести читателя въ эту мрачную картинную галлерею, такъ или иначе связанною съ исторіей семьи Катерины. Онъ вамъ опишетъ домъ въ деревнѣ, отсутствіе даже засова у воротъ, полусгнившій соломенный навѣсъ, еле державшійся на кривыхъ столбахъ, падающую ригу, поломанныя орудія хозяйства, запущенный дворъ. — Такова первая изъ картинъ. За ней идетъ другая: семья ужинаетъ обглодками хлѣба, приправленнымъ кисленькимъ квасомъ. И за этими двумя потянулись эти картины до безконечности: сумасшедшая Дарья, уводъ сына Степана, похищеніе слѣпыми странниками Пети, покиданіе родного клочка земли, сопровождаемое плачемъ всѣхъ; несчастія на новыхъ мѣстахъ; печальная жизнь мальчика Пети у Верстана, постоянныя затрецины и пинки, путешествіе ребенка въ знойные, нестерпимые дни, постоянная боязнь за Мишу; полная тревогъ жизнь маленькаго бѣглеца и т. д. — все это какъ-то мрачно, печально.

Не удивительно поэтому, что повѣсти и рассказы Григоровича производили въ свое время на пессимистически настроенныхъ людей 40-хъ и 50-хъ годовъ страшное, подавляющее впечатлѣніе. Траурная кайма повѣсти соотвѣтствовала трауру души современниковъ поэта. Въ одномъ изъ номеровъ тогдашняго „Современника“ Бѣлинскій нашелъ повѣсть „Антонъ-Горемыка“ и вотъ что писалъ послѣ Боткину: „Повѣсть измучила меня. Читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно!“ Въ другомъ мѣстѣ онъ пишетъ: „перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по нѣскольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго,

удушающаго впечатлѣнія“. На этомъ примѣрѣ Бѣлинскаго мы видимъ, какъ дѣйствовали въ свое время рассказы Григоровича. Не составляли исключенія въ данномъ случаѣ даже „Рыбаки“: надъ жалостной сценой проводовъ Вани, вѣроятно, плакала не одна чувствительная душа: „слезы навертываются на глаза, — говоритъ одинъ изъ людей 50-хъ годовъ, — когда читаешь эти съ неподдѣльнымъ чувствомъ написанныя страницы“. А между тѣмъ „Рыбаки“ — одна изъ свѣтлыхъ картинъ галлерей Григоровича. Нужно замѣтить при этомъ, что особенно мрачнымъ колоритомъ отличаются первыя мелкія повѣсти поэта: „Антонъ-Горемыка“, „Бобыль“, „Деревня“ (первыя двѣ въ 1848 г., а послѣдняя въ 1846 г.). Здѣсь вездѣ страданіе или смерть, это безпросвѣтная, душная ночь безъ капли свѣту, безъ малѣйшей прохлады. Отчего такъ было, сказать трудно: можетъ-быть, мрачнѣе думать поэта заставляла жизнь, можетъ-быть, въ этихъ густыхъ краскахъ сказалась молодость, которая всегда, извѣстно, и горячо любить и горячо ненавидить. Но потомъ, или по не зависящимъ отъ поэта обстоятельствамъ, или потому что

Броженъ юноши унялось,
Остепенился вдругъ поэтъ,

Григоровичъ сталъ сглаживать темныя, густыя штрихи, онъ началъ вводить особаго рода примиряющій элементъ. Если онъ прежде раздражалъ читателя сплошь до конца, если читатель прежде закрывалъ книгу среди „мучительнаго, гнетущаго“ впечатлѣнія, то насколько иначе было въ позднѣйшую пору! Поэтъ началъ успокаивать читателя, онъ сталъ давать ему возможность отдохнуть отъ тяжелыхъ сценъ, онъ сталъ вставлять въ свои произведенія болѣе свѣтлыя, успокоивающія глазъ картинки. Читатель, кончивъ повѣсть, уже скорѣе долженъ былъ оставить ее наполовину примиренный, потому что Григоровичъ сталъ рисовать въ концѣ повѣсти не одни страданія; его герои-идеалисты уже не умирали, они становились счастливыми, передъ читателемъ въ концѣ повѣсти была убаюкивающая нервы картина спокойной, счастливой жизни. Возьмите въ противоположность „Деревнѣ“ (1846 года), гдѣ въ концѣ повѣсти многострадальную сироту везутъ на кладбище, рассказъ Григоровича „Зимній вечеръ“ (1853 года). Здѣсь въ концѣ предъ вами не голодный Яша,

не голодная дѣти, не холодная, нетопленная комната бѣднака, а всѣ веселы, сыты, всѣ танцуютъ, ярко пылаетъ затопленная печка. То же самое въ „Переселенцахъ“. Въ концѣ повѣсти здѣсь помѣщены сцены, которыя заставляютъ забыть всѣ страданія героев; злодѣи уже получили достойное возмездіе, и торжествуетъ невинность. Въ концѣ повѣсти Петя съ добрымъ торговцемъ ѣдутъ отъ урядника и въ верстахъ 100 отъ Сосновки встрѣчаютъ конвойныхъ и колодниковъ, между которыми идетъ и злодѣй Верстанъ; дядя Мизгирь, достойный сотрудникъ Верстана, въ концѣ романа убитъ товарищами; Филиппъ, мучившій семью Катерины, фигурируетъ на судѣ и получаетъ наказаніе. Перемѣнились въ концѣ романа и Бѣлицыны, главные виновники страданій: въ концѣ романа Бѣлицына сожгла все, чему поклонялась вначалѣ. Не страдаетъ уже и Петя: обласканный помѣщиками, онъ уже учится столярному ремеслу, онъ неразлученъ съ семьей; одни только грустные воспоминанія объ умершемъ товарищѣ, мальчикѣ Мишѣ, тревожатъ лишь душу ребенка. Въ концѣ повѣсти Катерина уже скотницей; она занимаетъ видное мѣсто въ дворнѣ. Поэтъ въ концѣ „Переселенцевъ“ не забылъ даже Фуфаева, того весельчака-нищаго, который несъ больного Мишу на своихъ рукахъ, который всегда защищалъ Петю: Фуфаевъ въ концѣ повѣсти снова живетъ въ Марьинскомѣ, всѣми обласканный, накормленный; онъ весело отдуваетъ щеки и гордится своей волюшкой. То же происходитъ и въ „Рыбакахъ“: здѣсь въ концѣ романа нѣтъ страданій Дуни, Ваня безсрочно-отпускнымъ является черезъ 15 лѣтъ обратно и живетъ съ ней; въ надлежащіе мѣста отправлены и два злодѣя — Захаръ и Гришка: одинъ сосланъ въ Сибирь, другой лежитъ на днѣ Оки. Вездѣ тишь, гладь и благодать Божья, „все вѣсть миромъ и прохладой“.

Такъ сгладила поэтъ въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ свои темныя краски, съ спокойной душой закрывалъ его повѣсть читатель.

Указавъ читателю на то, что идеалъ нужно искать въ деревнѣ и притомъ въ деревнѣ, полной несчастій, Григоровичъ все-таки думалъ, что читатель мало растроганъ, что у него остались кое-какія сомнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, читатель могъ спросить поэта: неужели идеалисты одѣты одной сѣрягой?

неужели и въ культурномъ человѣкѣ, о которомъ забыла филантропія, нѣтъ идеаловъ Глѣба, Кондратія, Катерины или кого-нибудь изъ подобныхъ лицъ? неужели если свѣтло внизу, такъ темно въ то же время вверху? неужели городская цивилизація отстала передъ идеальной деревней?

Поэтъ какъ будто чувствуетъ это возраженіе, и новыя картины уже не деревни, а города, одна за другой проходятъ передъ читателемъ. Здѣсь уже не сермяжные герои, здѣсь выведенъ герой въ приличной, шеголеватой одеждѣ, здѣсь типъ взять сверху. И что же въ результатѣ? Читатель съ удивленіемъ смотритъ на эти новыя лица и видитъ только одни контрасты прежнимъ. Поэту, кажется, хочется добить павшаго врага, хочется показать, что нечего искать идеаловъ въ культурномъ слоѣ. Конечно, онъ могъ бы этого не сдѣлать. Можно было бы насканунѣ 60-хъ годовъ и въ верхнемъ слоѣ отыскать Глѣба, Кондратія, можно бы указать на нихъ читателю. Возьму одинъ примѣръ даже еще изъ эпохи до 40-хъ годовъ. Въ 30-хъ годахъ въ Московскомъ университетѣ учился молодой человѣкъ, сынъ помѣщика Воронежской губерніи. Посмотрите, что онъ пишетъ въ своихъ письмахъ роднымъ и знакомымъ. „Много минутъ провели мы человѣчески... Душа проситъ воли, умъ — пищи, жизнь — дѣятельности. Я сижу, работаю, надѣюсь сидѣть и работать еще больше... Можетъ-быть, науки со временемъ совершенно замѣнятъ мнѣ жизнь, начало этому я уже вижу“... Онъ собирается путешествовать и пишетъ: „Мнѣ нужно поучиться до отъѣзда. Я стыжусь своего невѣжества въ многихъ вещахъ“. Студентъ 30-хъ годовъ весь поглощенъ чисто человѣческими интересами: онъ живетъ театромъ, литературой, Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Виландомъ, Гюго, пробуетъ силы на поприщѣ литературы (пишетъ драму и стихи), живетъ университетской наукой, замышляетъ писать исторію театра, поглощенъ вопросами философіи. А между тѣмъ этотъ идеалистъ уже въ то время, на студенческой скамьѣ, былъ больной физически человѣкъ, который, по выходѣ изъ университета, прожилъ только около 6 лѣтъ. Этотъ студентъ былъ Н. Станкевичъ. Можно было Григоровичу найти въ 40-хъ и 50-хъ годахъ такихъ же людей. Но онъ не искалъ ихъ; онъ въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти „Проселочныя дороги“ выразился такимъ образомъ про высшій слой: „благодара

просвѣщенію — говоритъ онъ здѣсь, — разливающему благодатные лучи по всему пространству нашего отечества, людей, упорно коснѣющихъ въ невѣжествѣ, у насъ очень мало“. А между тѣмъ самъ нарочно отыскиваетъ одного изъ малыхъ сихъ; онъ здѣсь ловитъ только одни отрицательные типы; онъ нарочно отыскиваетъ ихъ въ глубинѣ „Проселочныхъ дорогъ“. Ему не хочется какъ будто, чтобы его идеаль, его сермяжный герой, ступевывался въ ряду другихъ свѣтлыхъ фигуръ; ему хочется, чтобы тотъ свѣтился ярче среди окружающей темноты. У Григоровича является, мы видимъ, новый приѣмъ — дѣйствовать на читателя контрастомъ.

Приѣмъ этотъ одинъ изъ любимыхъ у поэта. Достаточно прочесть даже иногда одно заглавіе разсказа, и уже нечего даже и читать, напр., „Пахотника и бархатника“, чтобы убѣждаться въ этомъ приѣмѣ Григоровича: онъ — въ самомъ заглавіи. Самъ Григоровичъ даже пишетъ по поводу этого своего литературнаго приѣма въ одномъ мѣстѣ слѣдующее: „позвольте теперь — говоритъ онъ — перенести васъ изъ унылой деревушки, утопающей въ грязи и облитой дождемъ, прямо въ центръ Петербурга. Переходъ, конечно, очень рѣзокъ, но тѣмъ лучше, мнѣ кажется. Безъ контрастовъ и неожиданныхъ переходовъ отъ худого къ хорошему, отъ мрачнаго къ веселому и обратно, не только романы и повѣсти, но и самая жизнь была бы однообразна и, слѣдовательно, невыносимо скучна“ („Пахотникъ и бархатникъ“). Въ этихъ ироническихъ словахъ поэтъ самъ указалъ намъ на свою любимую манеру — прибѣгать къ контрастамъ.

И дѣйствительно, эти контрасты, какъ нарочно, есть почти во всѣхъ произведеніяхъ Григоровича. Вездѣ, въ противоположность сермяжнымъ героямъ, беззавѣтнымъ труженикамъ, людямъ характера и стойкихъ нравственныхъ началъ, людямъ силы и воли, у поэта выведены лица культурнаго класса съ мелкими страстями, безъ опредѣленнаго нравственнаго облика, съ ничтожными низменными побужденіями; вездѣ идеальной и несчастной жизни простого человека у поэта противопоставляется счастливая, беззаботная, обезпеченная, лишенная всякихъ высокихъ стремленій, жизнь верхняго помѣщичьяго слоя. Такой контрастъ вы найдете въ „Антонъ-Горемыкѣ“, въ „Бобылѣ“, въ „Переселенцахъ“. Рядомъ съ кровельщикомъ, упавшимъ и разбившимъ грудь

о бревна, больнымъ старикомъ, этимъ бобылемъ, умирающимъ за околицей, помертвѣлыя уста котораго только шепчуть о пощадѣ, вы непременно найдете жизнь добродѣтельной старушки, приказавшей выслать бобыля за околицу и одарившей его какою-то цѣлебной травкой, старушки, окруженной массой всевозможныхъ приживалокъ. Рядомъ съ Акулей всегда у поэта непременно встрѣтится какая-нибудь представительница культуры, разсуждающая о „глупости“ Акулины; рядомъ съ Антономъ вы найдете непременно блаженствующаго за самоваромъ Карла Карловича со своей супругой. Рядомъ съ трудовой жизнью своего идеальнаго героя поэтъ выведетъ непременно какого-нибудь Бондаревского и Бѣлостоцкаго, занятого кофейнями, весь талантъ убившаго на то, чтобы перегнать карету Клары Петровны. Онъ выведетъ людей, съ дѣтства интересующихся однимъ зеркаломъ, людей, которые три мѣсяца отказываются отъ обѣда, чтобы купить себѣ брелоки къ часовой цѣпочкѣ, и мечты которыхъ заключены въ галстукѣ *la à papillon*. Поэтъ ищетъ вездѣ такихъ лицъ. Онъ идетъ въ самыя захолустья, чтобы найти тамъ необходимый контрастъ. И его находка увѣличивается успѣхомъ. Какимъ удовольствіемъ дышитъ лицо поэта, какъ радостно свѣтятся его глаза, когда онъ, отрекомендовавъ читателю Глѣба, Кондратія, Ваню, сейчасъ же подводитъ новаго знакомаго, Аристарха Ѳедоровича Балахнова или Попельковского. Поэтъ, кажется, на верху счастья. Онъ съ удовольствіемъ знакомить, съ скрытою радостью, васъ съ этимъ новымъ лицомъ. Онъ пишетъ все: какъ виситъ у Балахнова его портретъ надъ письменнымъ столомъ съ надписью: „стою за правду“; какъ поэтъ, представитель культуры говорить всѣмъ, что „истина должна освѣтить мысли“, какъ онъ всѣмъ жалуется на то, что приходится „на каждомъ шагѣ встрѣчать забвеніе того, что возвышенно и достойно“; какъ онъ въ то же время занять только однимъ дѣломъ — побить на выборахъ своего соперника, какъ онъ разоряетъ семью, не уплачиваетъ долговъ, какъ онъ занять всякими мелочными заботами о свадьбѣ Порфирія Павловича. Такъ же опишетъ поэтъ и другого новаго знакомаго, Попельковского. Вы узнаете отъ него сейчасъ всю немногосложную біографію этого человѣка: постоянныя розсказни про фортуна, про скупую тетку, про наслѣдство въ 300.000, про свое якобы хорошее

образованіе и рядомъ съ этимъ выпрашиваніе постоянно сигаръ у собесѣдника, постоянный заемъ какихъ-нибудь двухъ рублей на извозчика; полное отсутствіе идеаловъ, — вотъ біографическія черты новаго знакомаго.

Чтобы познакомиться поближе съ этими контрастами Григоровича, возьмемъ самый лучшій изъ нихъ, такой типъ, въ которомъ поэтъ замѣчалъ уже нѣкоторую симпатію своимъ вкусамъ, — типъ Бѣлицыныхъ въ „Переселенцахъ“, тѣхъ людей, которыхъ поэтъ вывелъ для контраста своей идеальной Катеринѣ.

Какіе здѣсь идеалы, какая здѣсь жизнь?

Идеаль Бѣлицыныхъ — спокойное, комфортабельное существованіе. Сама Бѣлицына въ деревнѣ мысленно занята устройствомъ своей гостиной въ Петербургѣ; она мечтаетъ постоянно о комодѣ во вкусѣ Помпадуръ, она думаетъ затмить своей обстановкой другіе дома столицы. Самъ Бѣлицынь мечтаетъ объ англійскомъ паркѣ, о дорожкахъ, клумбахъ; онъ мечтаетъ о томъ, какъ сдѣлать шире прудъ, какъ прорубить просѣку черезъ садъ; онъ думаетъ посадить посреди двора липу, чтобы придать дому англійскій характеръ. Удовольствія составляютъ утопію Бѣлицыныхъ, а мечты о морскихъ заграничныхъ купаньяхъ смѣняются мечтами о житьѣ въ Петергофѣ, о гуляньяхъ и музыкѣ. Когда въ деревню пришло письмо отъ знакомой Бѣлицыной, въ которомъ осмѣивался горохъ, морковь и отшельничество ея, въ которомъ упоминалось о гостинной во вкусѣ Людовика XV, то оба супруга съ завистью и печалью прочитали эти строки. Бѣлицыны пробуютъ трудиться, но неудачно: нѣсколько дней они сидятъ за счетами, записками, докладами; въ теченіе нѣсколькихъ часовъ они выслушиваютъ скотницу и Герасима, но проходитъ мимолетное чувство, запрагается экипажъ, хозяева бросаютъ счеты и бумаги, и поѣздъ двигается къ Петербургу. Трудовая жизнь осталась позади, и о ней сохраняется одно лишь грустное воспоминаніе. Бѣлицыны не лишены идеаловъ. Въ нихъ много доброты, много добраго сердца. Бѣлицынь приходитъ въ негодованіе при слухахъ о мести мужиковъ Тимоею; онъ общается устроить судьбу несчастной семьи, отыскать пропавшаго Петю. Бѣлицынь, растоганный, говоритъ Катеринѣ, что онъ приметъ въ ней участіе, что это его долгъ, долгъ христіанина; онъ

въ своей соломенной шляпѣ, въ сопровожденіи Герасима идетъ въ клѣтъ, гдѣ лежитъ больной Тимоѳей, онъ освѣдомляется о его здоровьѣ, ему хочется послать за докторомъ; онъ мечтаетъ объ устройствѣ больницы въ Марьинскомъ, онъ засиживается въ кабинетѣ, пишетъ проектъ ея и представляетъ цифру за цифрой. Жена раздѣляетъ симпатіи мужа. Она также добра, какъ и самъ Бѣлицынъ: она собственными руками надѣваетъ на голову ребенка Катерины чепчикъ, она даритъ платокъ и нѣсколько денегъ, она также увлечена проектомъ больницы. Но всѣ эти идеалы отзываются непрактичностью, не даютъ результатовъ. Жизнь окружающихъ незнакома Бѣлицыннымъ. О такихъ несчастіяхъ, какія были у Лапши, они читали только въ повѣстяхъ и романахъ; они только иногда вмѣсто дѣла складываютъ руки и поднимаютъ добрые глаза къ небу, моля о защитѣ. Число полей, десятинъ въ каждомъ полѣ, свойство почвы, выраженія: „яровое“, „паръ“, „въ клину“ — все темно для Бѣлицына. Онъ не знаетъ ничего о своихъ строеніяхъ, онъ не можетъ опредѣлить ихъ пригодности. Онъ знаетъ баварскую и саксонскую методы обработку земли, но ничего не знаетъ объ ихъ примѣненіи на практикѣ. Окружающіе всѣ для него неясны, и онъ съ удивленіемъ рассказываетъ женѣ слѣдующій эпизодъ: „Одинъ изъ мужиковъ срубилъ березу; я далъ ему денегъ и вдругъ узнаю, что часъ тому назадъ онъ опять попался! И гдѣ же? Онъ снова рубилъ у того дерева, у котораго мы поймали его“. Особенно непрактичны оказались Бѣлицыны въ вопросѣ о переселенцахъ. Мечты сдѣлать деревянные навѣсы для скота и незнаніе того, что лѣсъ дорогъ въ степной полосѣ, незнаніе того, что гурты гоняютъ громадными партиями, что гуртовщики рѣдко становятся подъ навѣсы, — все это отозвалось печально на переселенцахъ. По непрактичности Бѣлицыны оба похожи другъ на друга: одну можно было обмануть всякой скотницѣ, другого могъ провести всякій мужикъ. Это незнаніе жизни разбило всѣ идеалы благотворительныхъ супруговъ, мечтательныхъ идеалистовъ. Кипучій хозяинъ уже началъ вести съ управляющимъ апатичные разговоры; длинными стали казаться Бѣлицыннымъ дни въ деревнѣ; хозяинъ пересталъ даже ходить на скотный дворъ, не поддерживали бодрости духа ни катанье на лодкѣ ни прогулки въ лѣсу. Всякое петербургское письмо

раздражало идеалистовъ. Всѣ мечты о благотворительности разлетѣлись въ прахъ, обѣщанія спасти Петю не были выполнены. Семья переселенцевъ, утомленная и разбитая, вернулась, потративъ время и силы, на старое пепелище.

Таковъ типъ культурнаго человѣка, помѣщика, нарисованный Григоровичемъ въ противоположность сермяжному Глѣбу или Катеринѣ. Неустойчивость въ основныхъ взглядахъ, мечтательный идеализмъ сквозятъ здѣсь въ каждой чертѣ. А это между тѣмъ одинъ изъ лучшихъ типовъ! Что же сказать о другихъ контрастахъ? Здѣсь не мѣшаетъ сдѣлать одно замѣчаніе. Отъ этого приѣма Григоровича рисовать самые прозаическіе, будничные типы культурнаго человѣка, изображать людей безъ глубокихъ страстей, безъ порывовъ къ идеаламъ, происходитъ то, что иногда и скучно и утомительно читать его нѣкоторые романы. Таковы, напр., „Проселочныя дороги“. „Дочитать его до конца — говорить одинъ изъ критиковъ — дѣло большого труда, и рѣдко кто на это отваживается“; другому изъ критиковъ „добрые люди говорили, что онъ не прочтетъ и 50 страницъ этого творенія“; какой-то изъ рецензентовъ разъ даже замѣтилъ про „Проселочныя дороги“, что онъ проѣхалъ ихъ только изъ-за пріятной компаніи съ Дмитріемъ Васильевичемъ Григоровичемъ. Самъ поэтъ даже какъ будто чувствовалъ и самъ въ одной изъ главъ (VIII) извинился предъ читателемъ. И дѣйствительно, читая романъ, будто ѣдешь по тряской, овражистой и проселочной дорогѣ“ и отъ постоянного мельканія однообразныхъ луговъ, осинъ, буераковъ и овраговъ начинаешь нечувствительно засыпать; словно утомленный путникъ, кончивши романъ, закроешь книгу и невольно скажешь: „слава Богу, пріѣхали!“

Но не удовольствовался поэтъ ни деревенскими идеалами своими, ни своими страдающими героями, ни отрицательными типами культурнаго класса. Ему все казалось, что читатель не понималъ его мысли, что лѣстница, приставленная имъ къ поэтическому созданію, не хватаетъ до надлежащей степени, что нужно яснѣе высказаться, чтобы не было сомнѣній. И новые приемы пущены въ ходъ.

Григоровичъ начинаетъ ради обдѣленнаго человѣка глумиться прямо, открыто надъ тѣмъ, что не встрѣчаетъ его сочувствія; онъ начинаетъ открытую апологику своихъ

идеальныхъ лицъ. У читателя не остается уже никакихъ сомнѣній, и задача поэта выполнена.

Прочитывая нѣкоторыя повѣсти Григоровича вы нѣрѣдко наталкиваетесь на ироническій, сатирический строй фразы. Критики 50-хъ годовъ поэтому нѣрѣдко говорили про Григоровича, что онъ большой острякъ, что въ каждомъ словѣ его „много соли, даже перцу“ („Библи. для Чт.“ 1853). Такимъ же былъ, кстати можно замѣтить, Григоровичъ не только въ литературѣ, но въ обыденной жизни, въ своемъ пріятельскомъ кружкѣ. Его считали веселымъ собесѣдникомъ, мастеромъ рассказывать смѣшные анекдоты, товарищемъ всяческихъ проказъ. Такъ отзывался о немъ въ „Воспоминаніяхъ“ Фетъ. Въ другихъ „Воспоминаніяхъ“ (Арсеньева) передается рассказъ о томъ, что за ужиномъ у графа Ламберта Григоровичъ въ такой юмористической формѣ рассказалъ про свое путешествіе, что всѣ присутствовавшіе страдали отъ истерического хохота. Эта иронія, свойственная Григоровичу, и есть новый способъ добить противника. Ее вы встрѣтите у Григоровича тамъ, гдѣ онъ рисуетъ отрицательные типы, гдѣ нѣтъ мѣста его симпатіи. Такой ироніей пропитаны, напр., многія мѣста „Деревни“ или „Антон-Горемыки“. Вы читаете сцену, гдѣ господа знакомятся съ Акулей, читаете характеристику Карла Карловича и сейчасъ чувствуете злую иронію въ каждой строкѣ. Берете вы заключительныя строки „Бобыля“, гдѣ описывается сцена, какъ уѣзжаютъ на дрожкахъ „съ доброй мѣрой картофеля и цѣлымъ коромомъ новостей“ приживалки, и вамъ ясны будутъ антипатіи автора. Но особенно иронія замѣтна въ „Проселочныхъ дорогахъ“. Можно даже совсѣмъ не читать романа, а только пробѣжать одни заглавія, и вы сразу угадываете отношеніе поэта къ выведеннымъ типамъ. Вотъ напр. заглавіе XIV главы: „Желчь начинаетъ кипѣть въ величавой груди Аристарха“, или заглавіе XXI главы: „Аристархъ Ѳеодоровичъ, вѣрный своей цѣли, увеселяетъ Порфірія Павловича и вмѣстѣ съ тѣмъ не забываетъ дѣлъ своихъ“. Изъ этихъ заглавій прямо чувствуете, какъ относится поэтъ къ Балахнову. Это предчувствіе, дѣйствительно, оправдывается, когда начинаешь читать повѣсть, особенно когда читаешь высокопарныя фразы, какими описаны чувства Балахнова. Григоровичъ иногда даже открыто сознавался предъ читателемъ въ томъ, что онъ смѣется,

глумится надъ выведеннымъ типомъ: „надъ ними, право, подчасъ не грѣшно посмѣяться“, говоритъ онъ про типы въ „Проселочныхъ дорогахъ“. Онъ прямо заявлялъ иногда, что его романъ „есть собраніе забавныхъ сценъ, лицъ, заслуживающихъ насмѣшекъ“. Сопоставьте эти ироническія фразы поэта съ величаво-спокойнымъ торжественнымъ тономъ, какимъ написаны „Рыбаки“, и вы сейчасъ увидите, что въ „Рыбакахъ“ нѣтъ шутокъ; надъ вами здѣсь незримо носится духъ самого автора, сочувствующаго и Глѣбу, и Ванѣ, и дѣдушкѣ Кондратию.

Но если Григоровичъ глумился надъ несочувственными для него лицами, если онъ здѣсь не соблюдалъ величаваго спокойствія чистаго художника, то же онъ дѣлалъ и въ другихъ случаяхъ. Онъ не прочь былъ иногда прервать нить разсказа и преподнести читателю уже не поэзію, а просто самую обыкновенную прозаическую проповѣдь или внушительное замѣчаніе. Предъ вами въ такихъ случаяхъ уже не поэтъ, предъ вами трибунъ, ораторъ, громающій съ своей высоты противника. Такіе перерывы, вставки не рѣдки у Григоровича. Въ одномъ мѣстѣ романа „Переселенцы“ поэтъ разсказываетъ о Маши. Сообщивъ о томъ, что Маша осталась равнодушной къ чудесному вечеру, обнимавшему степь, что она ни разу не взглянула на ясное небо, не полюбовалась солнечнымъ закатомъ, Григоровичъ вдругъ дѣлаетъ такое отступленіе, специально обращаясь къ читательницамъ: „не спѣшите заключать, мои читательницы, перелистывающія страницы этой повѣсти вашими нѣжными пальчиками, не спѣшите заключать, что молоденькой мужичкѣ свойственнѣе думать о мукахъ и картофелѣ, чѣмъ устремлять мысли къ предметамъ возвышеннымъ, которые васъ однѣхъ занимать могутъ. Поэзія ваша не столько составляетъ принадлежность исключительно одаренной природы, сколько, попросту, находится въ зависимости отъ счастливой обстановки жизни. Если вы восхищаетесь солнечнымъ закатомъ, если устремляете къ небу прекрасные глаза и такъ мило произносите: „Oh, que c'est beau!“ повѣрьте, это доказываетъ только, что вамъ нечего думать о недостаткѣ муки и картофеля; если ваши близкіе, если ваши дѣти здоровы и сыты, сердце ваше спокойно и радостно бьется, вамъ очень пріятно гулять по полю послѣ чая или удобно сидѣть на балконѣ въ ожиданіи

чая съ отличнымъ бѣлымъ хлѣбомъ и привлекательными тар-тинками. Право, такъ! Не спѣшите дѣлать заключеніе о грубыхъ душевныхъ свойствахъ такого-то человѣка, справьтесь прежде объ обстоятельствахъ человѣка, тогда уже и заключайте“.

Предъ вами въ этихъ строкахъ не поэтъ. Здѣсь вы видите, авторъ прямо беретъ подъ свою защиту Машу, созданный имъ идеаль; онъ громить людей, не раздѣляющихъ его взгляды, онъ сердится, онъ старается предупредить всякое возраженіе, онъ превращается въ памфлетиста, въ проповѣдника. И такихъ вставочныхъ поученій не мало въ произведеніяхъ Григоровича и въ другихъ мѣстахъ. Такое же, напр., поученіе попадаетъ въ другомъ мѣстѣ тѣхъ же „Переселенцевъ“, гдѣ авторъ оправдываетъ своихъ некультурныхъ героевъ противъ обвиненія въ утилитаризмѣ: въ этомъ мѣстѣ Григоровичъ опять дѣлаетъ отступленіе и совѣтуетъ читателю самому натопаекъ сѣсть въ темную и холодную избу, просидѣть въ ней сутки и тогда уже обвинять его героя въ томъ, что у него нѣтъ поэтическихъ восторговъ, что онъ не понимаетъ, напр., живописности рѣки или березы; „тогда, говоритъ Григоровичъ, для васъ живописная рѣчка не стоила бы гроша, если бы въ ней тотчасъ нельзя было наловить налимовъ, лучина тогда сдѣлалась бы самымъ естественнымъ назначеніемъ самаго живописнаго дерева“. Опять и въ этомъ мѣстѣ нѣтъ ни капли поэзіи, здѣсь одно поученіе, одна проповѣдь. Особенно непозитичными можно назвать послѣднія повѣсти Григоровича, напр. „Неслужащіе“, „Почтенные люди, обремененные семействомъ“, „Очерки современныхъ нравовъ“. Всѣ они могутъ назваться скорѣе какими-нибудь трактатами и далеки отъ поэзіи.

Таковъ былъ Григоровичъ наканунѣ 60-хъ годовъ. Цѣлыя 20 лѣтъ училъ онъ читателя искать обѣтованной земли въ деревнѣ. Подчасъ причудливыми, фантастическими красками рисовалъ онъ своему читателю эту примитивную землю и цивилизацію; поэтъ твердилъ ему, что тамъ, въ этой деревнѣ, красота, тамъ идеалы, и напрасно онъ будетъ искать ихъ въ другомъ мѣстѣ. Григоровичъ убѣждалъ читателя, во имя челоуѣколюбія помочь этой обѣтованной землѣ, гдѣ все такъ прекрасно, все такъ полно поэзіи, но гдѣ въ то же время такъ много страданія, такъ много горя. Искательными

образами, жалостными сценами старался затронуть чувство состраданія своего читателя. Въ Григоровичѣ лучше, чѣмъ въ комъ-либо, замѣтно неотразимое вліяніе духа времени. Время филантропіи, время тяжелой тоски о земныхъ несовершенствахъ, время борьбы разныхъ началъ, время, все, даже поэзію, сводившее къ практическимъ гуманнымъ задачамъ, время лихорадочной дѣятельности вполне отразилось на личности поэта. И Григоровичъ, подобно другимъ, мечталъ о счастіи человѣчества; онъ плакалъ надъ своимъ идеаломъ; онъ ненавидѣлъ сильною ненавистью противника; онъ грумился надъ нимъ, онъ пѣлъ въ тонъ времени печальныя пѣсни; онъ сыпалъ сарказмами; онъ громилъ проповѣдями; онъ торопился лихорадочно не упустить времени; онъ былъ такъ же плодовитъ на произведенія, какъ плодовито было само время. Мятая пора какъ нельзя лучше отразилась на мятыхъ чертахъ поэта. Въ Григоровичѣ не было спокойствія, индифферентной любви ко всему, это поэтъ бурной, ознаменованной борьбою разныхъ началъ, эпохи. Все это, мы видѣли, замѣтно на его произведеніяхъ. Они порождены были временемъ; они пропитаны его идеалами. И люди той эпохи понимали родного имъ поэта; они видѣли, что этотъ поэтъ „плоть отъ плоти ихъ и кость отъ костей ихъ“. Они привѣтствовали каждую его повѣсть и мучились вмѣстѣ съ поэтомъ: „мысли грустныя и важныя“ — какъ выразился Бѣлинскій — являлись послѣ чтенія его произведеній. И самъ поэтъ жертвовалъ для времени всѣмъ. Онъ почти пренебрегъ совѣмъ тѣмъ искусствомъ, къ которому рвался съ дѣтства. Онъ горячо, страстно вмѣшался въ водоворотъ борьбы, слился съ эпохой. Кто хочетъ поэтому изучить общій характеръ 40-хъ и 50-хъ годовъ, тотъ по необходимости долженъ раскрыть повѣсти Григоровича: въ нихъ вся эпоха, съ ея свѣтлыми и темными сторонами.

Но эпоха 40-хъ и 50-хъ годовъ прошла.

Тучи промчатся, — солнце блеснетъ:

Горе не вѣчно, — радость придетъ, —

пѣлъ поэтъ. Пришло 19-е февраля, пришла и радость для людей 50-хъ годовъ. Просіяли лица, снята была траурная одежда. Филантропическіе идеалы осуществлены; нечего больше было плакать, лихорадочно бѣгать взадъ и впередъ,

нечего посылать проклятія. Вмѣстѣ съ эпохой сошелъ со сцены и Григоровичъ. Въ праздничный день, среди веселаго пира не было мѣста его плачущей музѣ. „Голосъ остался, да пѣть нечего“, сказалъ разъ про себя Тургеневъ. Эти слова могъ бы повторить про себя и Григоровичъ: ему дѣйствительно, нечего было пѣть. Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ принялся было за составленіе книжекъ для народа, редактировалъ между прочимъ историческіе рассказы подъ заглавіемъ „Знаменитые русскіе люди изъ простолюдиновъ“, редактировалъ сборникъ пѣсенъ и пословицъ, но скоро оставилъ это, замолкъ; онъ погрузился въ міръ спеціально искусства, онъ сталъ жить той половиной души, о которой почти забылъ раньше.

Мизиновъ.

Художественныя произведенія изъ народнаго быта въ ихъ отношеніи къ дѣйствительности.

„Рыбаки“ романъ Григоровича невольно возбуждаетъ потребность отдать отчетъ о рядѣ литературныхъ произведеній съ тѣмъ же направленіемъ, какимъ онъ отличается. Созданія, въ основаніи которыхъ лежатъ жизнь и обычаи простого народа, замѣтно расплодилось у насъ во всѣхъ формахъ, и уже начали составлять яркую и, скажемъ, утѣшительную черту современной литературы. Много новыхъ элементовъ для романа, повѣсти и комедій открыли даровитые писатели на этомъ поприщѣ; много оригинальныхъ лицъ и фізіономій, принадлежащихъ исключительно русскому міру, ввели они въ дѣло, и на многіе, доселѣ еще невѣдомые источники патетическаго, страстнаго и комическаго успѣли они указать намъ. Бодрость и сила, отличающія всегда плоды свѣжей, нетронутой почвы, сообщаются и этимъ народнымъ произведеніямъ и чувствуются даже тогда, когда, отстранивъ мысленно и съ усиліемъ, разумѣется, родовую привязанность къ лицамъ, выводимымъ ими, вы стараетесь взглянуть на нихъ, какъ чужой на чужого. Чувствуется присутствіе оригинальной мысли въ этихъ изображеніяхъ новаго міра, открытаго авторами, который по самой своей замкнутости и своеобразности представляетъ вмѣстѣ со многими затрудненіями

(о чемъ будемъ сейчасъ говорить) и много выгодъ для писателя. Такъ, произведенія изъ народнаго быта всегда сжатѣе, сосредоточеннѣе, чѣмъ тѣ, которыя захватываютъ разнородные круги общества, а потому и дѣйствуютъ сильнѣе послѣднихъ на воображеніе въ минуты самаго чтенія; они не имѣютъ причинъ заниматься анализомъ тонкихъ душевныхъ ощущеній, и потому кажутся здоровыми на видъ; они, наконецъ, проще въ завязкѣ, которая не можетъ быть сложна по существу самаго дѣла, и потому кажутся особенно величавыми на первый взглядъ.

Отдавъ полную справедливость качествамъ, отличающимъ новое направленіе въ литературѣ, и всей душой желая еще большаго его развитія, мы, однакожъ, должны предостеречь публику отъ недоразумѣнія, которое легко можетъ возникнуть по поводу его. Многіе, и въ томъ числѣ, вѣроятно, нѣкоторые изъ писателей этого рода, думаютъ, что простонародная жизнь можетъ быть введена собственно въ литературу во всей своей подробности, безъ малѣйшаго ущерба для истины, цѣлѣ и значенія своего. По нашему крайнему разумѣнію, это весьма важная ошибка, способная породить (и порождаящая) бесплодныя стремленія къ такой цѣли, которая врядъ ли можетъ быть достигнута. Литературная передача всякаго явленія имѣетъ свои неизбѣжныя правила, приемы, манеру, которымъ долженъ подчиниться матеріалъ самый непокорный, и которые налагаютъ клеймо свое на самый гордый и самостоятельный предметъ. Что бы ни дѣлалъ авторъ для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ принужденъ наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе. Желаніе сохранить рядомъ другъ подле друга требованія искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни, произвести эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту, — желаніе это кажется намъ неисполнимымъ. Еще хуже бываетъ, когда воснѣтся дѣло до выраженія нравственнаго достоинства, присущаго лицамъ простонародья. Здѣсь является опять литературное пониманіе его, почасту расходящееся съ простымъ, менѣе требовательнымъ пониманіемъ самаго круга. Есть, наконецъ, множество строгихъ представленій въ литературѣ, безспорно принимаемыхъ всѣми какъ

фундаментъ, на которомъ легко, прилично и удачно могутъ быть построены завязка и интересъ разсказа. Въ извѣстной степени представленія эти не чужды никакому классу; но они никакъ не составляютъ обязанности или несчастья для простаго человѣка, и авторъ принужденъ иногда гнуть постороннее лицо подъ ними къ землѣ только силою своего произвола. Къ этому прибавить надо добрую часть книжныхъ истинъ, вмѣшивающуюся, разумѣется, невольно отъ самого автора, въ его сужденіе и сообщающую завязкѣ совсѣмъ другой цвѣтъ, чѣмъ тотъ, подъ которымъ является она невооруженному глазу человѣка. Въ этомъ перечетѣ разныхъ литературныхъ условій нельзя забыть и того, что въ арсеналѣ беллетристическаго произведенія есть всегда множество поясненій, развязокъ и окончательныхъ соображеній, готовыхъ къ услугамъ писателя, который долженъ только владѣть талантомъ правильнаго выбора; но они, случается иногда, не составляютъ ни малѣйшаго объясненія, никакой развязки дѣлу въ глазахъ человѣка, знакомаго съ нимъ настоящимъ образомъ. Такъ, истина жизни и литературная истина въ смѣшеніи своемъ отнимаютъ другъ у друга цѣлыя, иногда весьма характерныя части. Этимъ даже можно объяснить отчасти явленіе, уже замѣченное многими. Грамотный, но еще не развитой простолюдинъ, читая грубыя изображенія самого себя, не читаетъ поясненій своей жизни, дѣлаемыхъ поэзіей и литературой. Дѣйствительно, они должны многое скрыть въ его глазахъ: такъ, очертанія крыльца и забора итальянской избы пропадаютъ въ гущѣ плюща и винограда, обвивающихъ ихъ со всѣхъ сторонъ.

Мы весьма далеки отъ мысли обвинить всѣхъ нашихъ разсказчиковъ въ тѣхъ погрѣшностяхъ, которыя перечислены нами теперь; напротивъ, мы видимъ во всѣхъ тщательное стараніе обойти ихъ. Но это самое и доказываетъ, что онѣ дѣйствительно существуютъ, и что не всегда могутъ быть обойдены. Простонародную такъ называемую литературу никакъ нельзя сравнить съ тѣми группами разсказовъ, какіе еще недавно существовали у насъ: ни съ разсказами объ идеальныхъ художникахъ, томящихся въ дѣйствительности, ни съ свѣтскими повѣстями, гдѣ калейдоскопически противопоставлено внѣшнее изящество благородству простаго, робкаго чувства и пр. Тѣ брали преимущественно свои типы

изъ воображенія, распаленнаго ночной работой, просто-народные рассказы берутъ свои типы изъ жизни и, какъ мы сказали, часто даютъ имъ выраженіе глубокое и сильно затрогивающее чувство читателя. Со всѣмъ тѣмъ общій характеръ рассказовъ послѣдняго рода заключается именно въ томъ столкновеніи искусства съ выбраннымъ предметомъ, о которыхъ сейчасъ говорено было. Почти въ каждомъ рассказѣ видите вы тяжелую борьбу между литературной манерой и бытомъ, который подчиняется ей не совсѣмъ охотно. Есть напряженіе со стороны писателя и добрая цѣль изворотовъ, которыя не укрываются отъ глазъ читателя. Борьба писателя переходитъ и на чтеца его, и какое-то необъяснимое сомнѣніе идетъ объ руку съ невольнымъ увлеченіемъ отъ рассказа. По окончаніи чтенія вы побѣждены авторомъ, благодаря многимъ превосходнымъ частностямъ, столь изобилующимъ въ новыхъ произведеніяхъ, благодаря мастерскимъ описаніямъ, яркимъ освѣщеніямъ картинъ, что составляетъ неотъемлемую принадлежность этой школы, благодаря, наконецъ, чертамъ глубоко и вѣрно подмѣченнымъ въ жизни; но когда возвращаетесь вы къ основной мысли произведенія, сужденіе ваше опять двоятся. Въ душѣ вашей рождается смутное и неопредѣленное чувство. Вы знаете, что рассказъ превосходенъ; но вы спрашиваете: много ли въ немъ истины самой по себѣ, и такъ ли сказывается она въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ?

Довольно замѣчательно, что, сличеніемъ разныхъ произведеній одного и того же рода, вопросъ, заданный вами себѣ самому, не разрѣшается, а напротивъ, еще больше запутывается. Кто не знаетъ изъ русскихъ читателей, что въ небольшихъ рассказахъ, гдѣ дѣло собственно въ подмѣткѣ вѣшной фізіономіи простолюдина, въ описаніи обычая, привычекъ его, въ изложеніи формальныхъ его отношеній къ другимъ людямъ и, наконецъ, въ уловленіи характеристическихъ частныхъ его быта и природы, гдѣ онъ движется, школа произвела нѣсколько образцовыхъ вещей. Таковы нѣкоторые рассказы Тургенева, Писемскаго, Кокорева и многіе эпизоды самого Григоровича и пр. То же самое можно сказать и о вводныхъ лицахъ у другихъ писателей, не занимавшихся преимущественно тѣмъ отдѣломъ, о которомъ говоримъ. Вѣрность подлинному типу и истина самага

представленія бросаются вездѣ въ глаза читателя. Наслажденіе это еще увеличивается отъ разнообразія средствъ, какія употребляются писателями для выраженія типовъ, встрѣченныхъ ими. Родъ таланта, свойственный каждому изъ авторовъ, его художественскіе способы, освѣщеніе, какое преимущественно любить онъ давать своимъ представленіямъ, наконецъ, уголъ зрѣнія, подъ которымъ онъ наблюдаетъ ихъ, — все это, вмѣстѣ съ живостью изображаемаго предмета, оставляетъ въ насъ вполне цѣльное впечатлѣніе. Совсѣмъ другое бываетъ, когда писатель переходитъ къ идеализаціи быта, другими словами: къ открытію мысли, движущей его, къ скрытымъ душевнымъ ощущеніямъ и къ поводамъ, опредѣляющимъ его убѣжденія, привязанности, отвращенія. Здѣсь писатель становится въ противорѣчіе почти съ каждымъ изъ своихъ читателей, имѣющимъ о томъ же предметѣ свои мысли, а также почти и съ каждымъ собратомъ своимъ по ремеслу. На этой общей почвѣ писатели, представляющіе такое множество точекъ соприкосновенія, уже не сходятся... То, что одному кажется естественнымъ выводомъ изъ всей жизни человѣка, то другому кажется искусственной прибавкой со стороны біографа; гдѣ одинъ видитъ ограниченную потребность, тамъ другой открываетъ только случайность и т. д. Метода приложенія чувствъ и мыслей, имѣющихъ уже права гражданства въ образованномъ мірѣ, къ жизни на всѣхъ концахъ общества имѣетъ и защитниковъ и противниковъ, сражающихся доводами одинаково сильными, т.-е. произведеніями, въ которыхъ искусно развито то или другое убѣжденіе. Изъ разногласія этого отдѣляется, однакоже, для наблюдательнаго глаза, одна непреложная истина. Смущенный читатель начинаетъ догадываться, что настоящее существо дѣла, слово разгадки, которое должно примирить всѣхъ, какъ древняя рѣка Алфей, бѣжитъ подъ землею, и что вмѣсто дѣла наружу бросается только литературное пониманіе его, какъ свѣжая растительность, доказывающая несомнѣнное существованіе источника. Но литературное пониманіе уже не имѣетъ достаточной очевидности, чтобы подчинить себѣ мысли, убѣжденія читателя. Будучи дѣломъ личнаго произвола, оно тѣмъ же личнымъ произволомъ и можетъ быть отстранено. Это не капиталъ, имѣющій одну установленную цѣнность, а фондъ, упдающій и возвышающійся

смотря по развитію и состоянію мысли въ обществѣ и по ея направленію. Такимъ образомъ, литературное произведеніе является намъ, какъ дерево висячихъ садовъ, поднятое на огромную высоту, выращенное на почвѣ, тщательно собранной тамъ, и, при всей пышности своей, не имѣющее того залога настоящей растительной жизни, какая свойственна дереву, самобытно поднявшемуся на родной землѣ и глубокою пустившему въ нее корни свои.

Анненковъ.

„Деревня“.

Въ своихъ *Воспоминаніяхъ* Д. В. Григоровичъ подробно рассказываетъ исторію новаго произведенія которое было имъ написано въ тиши деревенскаго уединенія.

„Я сознавалъ, — пишетъ онъ, — что пришелъ конецъ моимъ мытарствамъ, что пора одуматься, пора прійти въ себя, приняться за настоящую работу и доказать, что мои порывы къ литературѣ не были мимоходными капризами, но признакомъ врожденнаго призванія“...

Долго не попадалось подходящаго сюжета; но случай помогъ дѣлу: „Къ матушкѣ, — рассказываетъ писатель, — привезли больную молодую бабу. За обѣдомъ матушка рассказала ея исторію. Ее противъ воли выдали замужъ за грубаго молодого парня, котораго также приневолости взяли ее въ жены; онъ возненавидѣлъ ее, чему не мало способствовали его сестры, началъ ее бить въ трезвомъ и пьяномъ видѣ и заколотилъ почти до смерти; баба была въ злѣйшей чахоткѣ и врядъ ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чѣмъ жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлѣтней дѣвочки: онъ и ее заколотитъ на смерть, говорила она. Рассказъ этотъ произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. Сюжетъ повѣсти былъ найденъ. Я тотчасъ же принялся его обдумывать и приводить въ повѣствовательную форму. Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя удавалось читать, я сталъ усердно его изучать практически, проводилъ время на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривалъ съ нашими крестьянами, стараясь прислушаться къ селаду

ихъ рѣчи, записывалъ выраженія, казавшіяся мнѣ особенно характерными и живописными... Первые главы стоили мнѣ немовѣрнаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилѣтняго возраста, все еще по временамъ давалъ себя чувствовать; я долго иногда путался, приискивая ту фразу, которая должна была выпукло и пластично выразить то, что хотѣлось сказать... Каждую главу передѣлывалъ я, переписывалъ по нѣскольку разъ, вымарывая, переправляя въ ней все, что чуть-чуть казалось неладнымъ...

Изъ „Воспоминаній“ Григоровича.

Общее содержаніе повѣсти „Деревня“.

Здѣсь описана печальная жизнь крестьянской дѣвушки-сироты, много горя натерпѣвшей еще въ дѣтствѣ и юности въ чужой семьѣ, а затѣмъ насильно выдаваемой замужъ, по капризу барина (который думаетъ, что оказываетъ ей благодѣяніе) за парня, которому вовсе не нравится и вся семья котораго не желаетъ этого брака. Повѣсть оканчивается смертью несчастной женщины, замученной мужемъ. Сцены, когда баринъ объявляетъ свою волю роднѣ жениха, отчаяніе невѣсты, пѣсни и пляска передъ барскими хоромами для увеселенія господъ, приходъ молодыхъ на поклонъ къ помѣщику — все это написано не особенно ярко, но было большою новостью въ литературѣ.¹⁾ Авторъ, видимо, желалъ показать, сколько горя можетъ причинить человѣкъ, даже и не злой, но плохо знающій крестьянскую жизнь и, между тѣмъ, вооруженный почти неограниченной властью надъ крестьянами свои вотчины. На Бѣлинскаго эта повѣсть произвела очень благопріятное впечатлѣніе.

Семевскій.

¹⁾ Тургеневъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ говоритъ о повѣсти Григоровича, что „это первая попытка сближенія нашей литературы съ народной жизнью, первая изъ нашихъ деревенскихъ исторій — *Dorfgeschichten*. Написана она была языкомъ нѣсколько изысканнымъ, не безъ сентиментальности, но стремленіе къ реальному воспроизведенію крестьянскаго быта несомнѣнно“.

Новизна содержания „Деревни“ и произведенное ею впечатлѣніе.

Въ повѣсти, сюжетомъ которой послужило дѣйствительно деревенское происшествіе, рассказывалась исторія бѣдственной жизни и смерти крестьянской сироты, выданной замужъ по приказанію барина за грубаго мужика, буяна, пьяницу и драчуна. Исторія немногосложна, но рассказана она была съ искреннимъ сочувствіемъ къ горю сиротки; въ ней было замѣтно наблюденіе надъ жизнію деревни; въ ней рельефно изображена и темнота и грубость и безправность народная. Весь рассказъ дышитъ чувствомъ грусти, общимъ печальнымъ тономъ. Но главное, необыченъ былъ выборъ сюжета для рассказа. Простонародная жизнь въ наготѣ ея, съ обыденной обстановкой, до сихъ поръ еще ни разу не была предметомъ литературнаго изображенія. Рассказъ „Деревни“ былъ первенцемъ произведеній изъ простонароднаго быта. Немудрено, что рассказъ обратилъ на себя общее вниманіе, заставивъ заинтересоваться имъ и современную критику. Это была собственно первая повѣсть, рисовавшая бытъ народный въ самой голой правдѣ и тѣмъ самымъ ближе всего подошедшая навстрѣчу зараждавшимся въ обществѣ симпатіямъ къ крестьянскому люду. Самъ Григоровичъ придавалъ, очевидно, особое значеніе новому, непривычному для тогдашнихъ читателей сюжету своего произведенія. „Хотя рассказчикъ этой повѣсти“, говоритъ онъ, „чувствуетъ неизъяснимое наслажденіе говорить о просвѣщенныхъ, образованныхъ и принадлежащихъ къ высшему классу людяхъ; хотя онъ вполне убѣжденъ, что самъ читатель несравненно болѣе интересуется ими, нежели грубыми, грязными и вдобавокъ еще глупыми мужиками и бабами, однако онъ перейдетъ скорѣе къ послѣднимъ, какъ лицамъ, составляющимъ, увы! главный предметъ его повѣствованія“. Успѣхъ деревни сблизилъ автора ея съ такими лицами, какъ Даль (Казакъ Луганскій), авторомъ многочисленныхъ маленькихъ этнографическихъ рассказовъ изъ народнаго быта, и съ Сахоровымъ, авторомъ двухтомныхъ „Сказаній русскаго народа“. Знакомство съ такими писателями, осо-

бенно съ Далемъ, обогатили Григоровича знаніемъ народнаго языка.

Изъ „Филологическихъ Записокъ“ за 1900 и 1902 гг.

Антонъ Горемыка.

Антонъ-Горемыка — одна изъ лучшихъ русскихъ повѣстей, справедливо доставившихъ автору извѣстность, основана на очень интересномъ мотивѣ — опытѣ крестьянъ забытой бариномъ деревни, разоренныхъ въ конецъ управляющимъ, послать отъ имени всѣхъ жалобу, на послѣдняго, барину. Результатъ этой жалобы, писанной единственнымъ зажиточнымъ работающимъ мужикомъ Антономъ, — сдача женатаго брата послѣдняго въ солдаты, разореніе Антона и, наконецъ, отправление въ острогъ его самого. Первое, на что здѣсь должно быть обращено вниманіе — это готовность Антона послужить общему дѣлу и страданія, претерпѣнныя имъ однимъ за всѣхъ. Сбивъ нѣсколько мелодраматически конецъ (Антонъ попадаетъ въ лѣсъ къ разбойнику брату и подвергается въ ограбленіи вмѣстѣ съ нимъ купца; личность старухи Архаровны), авторъ тѣмъ не менѣе искусно проводитъ постепенное развитіе въ честномъ человѣкѣ отчаянія и, наконецъ, доводитъ Антона почти до готовности даже на преступленіе. Жаль только, что причина гоненія Антона со стороны управляющаго выясняется только во второй половинѣ повѣсти. Но тѣмъ не менѣе интересъ возбужденъ съ самаго ея начала. Такъ первыя двѣ главы знакомятъ съ бѣдственнымъ положеніемъ страдальца, несмотря на всю свою бѣдность дѣлящагося послѣднимъ кускомъ съ побирушкой и воспитывающаго дѣтей брата, къ которымъ Антонъ относится такъ тепло (сцены въ лѣсу съ племянникомъ, возвращеніе домой, встрѣча съ племянницей, ласки къ дѣтямъ въ избѣ). Требованіе управляющимъ подушныхъ заставляетъ Антона отправиться въ городъ на ярмарку продавать свою единственную лошадь, кормилицу-Пѣгашку; но ее крадутъ на постояломъ дворѣ, и бѣднякъ попадаетъ въ разбойничій притонъ къ брату Ермолаю. Послѣдняя глава — отправленіе Антона вмѣстѣ съ разбойниками въ острогъ — полна

высокаго потрясающаго драматизма, еще болѣе усиливающегося контрастомъ двухъ братьевъ, изъ коихъ Антонъ остается все тѣмъ же, только окончательно уже убитымъ, пассивнымъ страдальцемъ, какимъ является и во всей повѣсти. Кромѣ героя, на которомъ сосредоточивается интересъ, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на изображеніе самого народа. Подавленный нуждой, онъ или ходитъ пришибленный, какъ Антонъ, или пьянствуетъ, или крадетъ и мошенничаетъ, какъ рыжій мужикъ на постояломъ дворѣ; или же, думая только о себѣ, грабитъ своего же ближняго, какъ мельникъ Аксентій. Тупой на соображеніе, дѣйствующій только подъ вліяніемъ минуты, этотъ народъ, хотя и увлекается подчасъ участіемъ къ судьбѣ товарища, какъ это было съ постояльцами въ городѣ, когда украли Антонову лошадь; но переходъ внутреннихъ движеній въ немъ внезапенъ и быстръ: добро идетъ рядъ обрядъ съ лихомъ, и часто одно вѣнчается другимъ почти мгновенно. Стоитъ плуту дворнику сказать рѣшительно нѣсколько словъ, и толпа вполнѣ соглашается съ ихъ справедливостью, помогаетъ бѣдняку глупыми совѣтами, и, спровадивъ его, уже начинаетъ заподозрѣвать въ мошенничествѣ и самого Антона; стоитъ подошедшему фабричному изъ одной съ Антономъ деревни рассказать о причинѣ его бѣдственнаго положенія, причинѣ вражды къ нему управляющаго, участіе уже опять на сторонѣ горемыки. Не ищите въ этомъ народѣ никакой выдержки: стадное чувство и постоянное памятованіе о томъ, что „своя шкура дороже“, — вотъ что движетъ имъ, вотъ почему и не удастся жалоба барину. Закричалъ на мужика управляющій. „Кто, говоритъ, писалъ на меня жалобу? Мы оплошали, сробѣли; ну, а какъ видимъ, дѣло то больно плохо подступило, не сдобровать, доконаетъ, всѣ въ одинъ голосъ Антона и назвали“. (Разсказъ фабричнаго.) Плохо также геремыкѣ рассчитывать и на народное участіе, сочувствіе къ какому бы то ни было, хоть самому ужасному, горю. Смѣхъ старика надъ бѣгущимъ за лошадью ополоумѣвшимъ Антономъ, равнодушіе кузнеца Вавилы, набивающаго колодки на Антона, праздное любопытство этой толпы взрослыхъ дѣтей къ колодкамъ: — Эки штуки!... Занятно больно. А что, дядя Вавило, я, чай, куда тяжелы стануть. Гдѣ ты ихъ срубилъ, дядя Вавило? — эти черствыя слова

про челоуѣка, принявшаго на одного себя отвѣтъ за цѣлый міръ — „Подѣломъ ему, мошеннику... подѣломъ... что вы его, братцы, разбойника, жалѣете?!“ — все это такіа черты грубости и безчеловѣчія, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе юноши для того, чтобы онъ, любя народъ, понималъ, какія живутъ въ этомъ народѣ, рядомъ съ прекраснѣйшими качествами, страшные пороки, глубоко вкоренившіеся въ народныя нравы.

Острогорскій.

Отношеніе публики и критики къ „Антону Горемыкѣ“, при первомъ ея появленіи въ печати.

Несчастія, постигшія Антона, его трагическая участь, изображены Григоровичемъ мастерски. Повѣсть и до настоящаго времени производитъ впечатлѣніе, когда народный бытъ, съ его неустройствомъ и неурядицами, значительно исчерпанъ уже многими талантливыми писателями.

Тогда же Антонъ Горемыка произвелъ прямо потрясающее впечатлѣніе. Предъ читателями повѣсти стоялъ краснорѣчивый фактъ, выхваченный изъ жизни, доказывающій весь ужасъ положенія безправнаго мужика, въ которое онъ поставленъ рабскимъ состояніемъ. Это былъ яркій протестъ противъ крѣпостного права¹⁾. Несоотвѣтствіе окончанія повѣсти съ ходомъ дѣйствія не уничтожило ея значенія и вліянія на общество. Она появилась въ такой моментъ, когда общество достигло степени развитія, при которой не могло считать положеніе простаго народа нормально и хладнокровно къ этому относиться; когда лучшіе русскіе люди страдались и измучились отъ сознанія народнаго безправія и темноты; когда, однимъ словомъ, струны общественнаго сознанія слишкомъ ужъ туго были натянуты. Григоровичъ

¹⁾ Повѣсть всполошила тогдашнюю цензуру. Она появилась въ печати, благодаря гуманному цензору Никитенко, для спасенія повѣсти сочинившему для нея свое окончаніе. Въ первоначальномъ своемъ видѣ повѣсть кончилась тѣмъ, что крестьяне, доведенные до крайности злоупотребленіями управляющаго, поджигаютъ его домъ и бросаютъ въ огонь самого управляющаго. Никитенко пощадилъ управляющаго и заставилъ крестьянъ предъ отправленіемъ на поселеніе каяться и просить у міра прощенія. Въ теперешнемъ своемъ видѣ повѣсть носитъ окончаніе, несоотвѣтствующее ни тому, ни другому варианту.

съ силой ударилъ по этимъ струнамъ и вызвалъ въ сердцахъ современниковъ самый горячій отзывъ.

Съ появленіемъ „Антонъ Горемыка“ за Григоровичемъ устанавливается репутація народнаго писателя, отъ котораго ожидается многое въ будущемъ. Бѣлинскій призналъ „Антонъ Горемыку“ истинно художественнымъ произведеніемъ: „Антонъ Горемыка“, писалъ критикъ, „больше, чѣмъ повѣсть, это — романъ, въ которомъ все вѣрно основной идей, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антонъ мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ — лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣсняются мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать много“.

Изъ Филологическихъ записокъ за 1900 и 1902 г.

„Б о б ы л ь“.

Въ напечатанномъ въ 1848 году разсказѣ „Бобыль“ Григоровичъ рисуетъ ужасную судьбу дряхлаго старика, крѣпостного крестьянина, которому негдѣ головы приклонить. Вотъ уже девятый годъ, какъ съ него сняли тягло; онъ одинокъ, у него нѣтъ семьи, нѣтъ также земли и избенки. Онъ жилъ на хлѣбахъ у крестьянина, пока могъ еще работать, а теперь никто не хочетъ его держать; помѣщикъ же, несмотря на обязанность возлагаемую на него закономъ, не допускать до нищенства своихъ крестьянъ, и не думалъ о немъ заботиться. Горемычная его жизнь кончается тѣмъ, что онъ умираетъ въ полѣ, въ ужасную осеннюю ночь, такъ какъ даже одна болѣе суровая помѣщица, занимающаяся лѣченіемъ крестьянъ, выгоняетъ его на вьюгу и непогоду изъ опасенія, что, въ случаѣ его смерти, ей не раздѣлаться съ судомъ. Этотъ разсказъ былъ хорошимъ отвѣтомъ на слова крѣпостниковъ и тѣхъ жертвъ, которые приносятъ де помѣщики для обезпеченія пропитанія своихъ крестьянъ.

Семевскій.

Свѣтлыя и темныя стороны жизни крестьянина-пахаря по сочиненіямъ Григоровича: „Пахарь“, „Четыре времени года“, „Кошка и Мышка“, „Свѣтлое Христово Воскресеніе“, „Мать и дочь“ и „Бобыль“.

Страсный любитель природы и тихой деревенской жизни въ всей ея простотѣ, авторъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій отдаетъ явное предпочтеніе труду земледѣльческому передъ фабричнымъ; но не потому, чтобы онъ самъ былъ врагомъ фабрикъ, способствующихъ развитію промышленности, а потому, что фабричная жизнь, при настоящемъ своемъ состояніи, не только мало способствуетъ увеличенію народнаго благосостоянія, а еще, напротивъ, народъ спаваетъ, портитъ его нравственность и часто ведетъ земледѣльца или рыбака къ конечному разоренію. Такое пристрастіе къ пахатному труду и простотѣ нравовъ породило прекрасную идиллію „*Пахарь*“, представляющую какъ бы эпическое развитіе *Пьесы пахаря* Кольцова. Встрѣтивъ въ полѣ молодого парня, Савелья — идеаль пахаря молодца, сына, вполне достойнаго своего батюшки, — авторъ освѣдомлялся объ его отцѣ, и узнаетъ, что старикъ лежитъ дома больной уже три дня. Этотъ-то древній старикъ, дѣятельный не по лѣтамъ Анисимычъ, и есть герой, къ трогательной, тихой смерти котораго привязанъ весь рассказъ. Это — типъ „*трудолюбиваго, дѣлового пахаря стараго вѣка*“, все болѣе и болѣе выводящійся съ упадкомъ воздѣлыванія земли на счетъ фабричнаго промысла; — этотъ человекъ совершенно сжилъ съ своимъ подемъ съ самаго младенчества и до старости сохранилъ „*необычайную кротость нрава, чистоту помысловъ и благочестіе*“. Нѣтъ тутъ не науки, которую замѣняетъ знаніе однихъ примѣтъ, нѣтъ даже корысти, стремленія къ деньгамъ; богатство пахаря — хлѣбъ: его даетъ ему волю нива и трудъ, и старикъ готовъ подѣлиться хлѣбомъ съ каждымъ: *хлѣбъ — дѣло святое, — не то что деньги, деньги отъ человека, онъ ихъ выдумалъ, онъ ихъ и дѣлаетъ; а хлѣбъ — даръ Божій*. И такъ сроднился Анисимычъ съ природой, такъ вошелъ въ свое любимое пахатное дѣло, что мало и интересуется дѣлами мірскими. Какъ особенной

милости, просилъ онъ всегда, чтобы избавили ого отъ всякой почетной должности, и никогда не бывалъ ни старостой ни даже сотскимъ. Но, тѣмъ не менѣе, его высоконравственная личность почиталась въ деревнѣ такъ, что безъ старика ни обходилось ни одной сходки, ни дѣлежа, ни разбора семейныхъ распрей, и всѣ подчинялись его нелицепріятному приговору. Такъ, тихо и мирно, безъ бурь и потрясеній, за исключеніемъ отпуска одного изъ сыновей въ солдаты, протекала эта честная жизнь труда, и добрую память по себѣ оставилъ Анисимычъ и въ своихъ дѣтахъ, и во всемъ околodeѣ.

Четыре времени года, изъ жизни цѣлаго дружнаго, трудового крестьянскаго семейства, одна изъ лучшихъ вещей Григоровича. Эта идиллія, очень разнообразная по содержанію, знакомитъ читателя, едва ли, не со всѣми главнѣйшими интересами крестьянской жизни. Тутъ и пахата съ различными предположеніями объ урожаѣ, отъ котораго будетъ зависеть уплата оброка, и остатки денегъ, съ которыми можно было бы женить сына, и молитва о дождѣ, и радость всей деревни, когда дождь пошелъ; жатва и жница съ большимъ ребенкомъ, несущая мужу въ поле обѣдъ, и поэтический обрядъ наряженія снопа, когда *„хлѣба снятаго уродилось вволюку“*, осенній отлетъ ласточекъ и свадьба; картина деревни при первомъ морозѣ, зимнія игры ребятишекъ, отдача оброка, за которымъ еще остались деньжишки про случай, и радость семьи, получившей за свой годовой трудъ сытый покой и довольство на зиму; наконецъ, и вечеръ съ отцомъ на горячей печи, и тихая бесѣда старушки съ невесткой и дѣтьми за прялкой. Эта же повѣсть ознакомитъ и съ значеніемъ въ крестьянскомъ быту коровы, отъ продажи которой, по ходу разсказа, зависитъ свадьба сына. Сцены, какъ похваливаетъ корову старикъ-отецъ, а воркунья-жена опасается, какъ бы скотина отъ похвалы не извелась, обмахиванье коровы вербою при выгонѣ скотины въ первый разъ въ поле, ругань бабъ изъ за-коровы, торгъ ея — одинъ изъ лучшихъ въ повѣсти, точно такъ же, какъ и покупка дѣдомъ на радостяхъ говядины, черныхъ котовъ для снохи и гостинцевъ для ребятишекъ. По отрадному впечатлѣнію, оставаемому повѣстью въ читателѣ, она, едва ли, не самая идиллическая изъ всѣхъ повѣстей Григоровича; одинъ только

образъ бѣдной Дарьи, хоронящей своего единственного ребенка, подобно пушкинской тучѣ, наводитъ унылую тѣнь на свѣтлую картину. Тѣмъ же характеромъ идиллическаго изображенія семейныхъ радостей и горя всего болѣе подходитъ къ *Пасхарту* повѣсть „*Кошка и мышка*“, въ которой точно также контрастомъ съ радостнымъ рожденіемъ первенца-ребенка — главнымъ фактомъ разсказа — выставлена смерть всѣхъ троихъ дѣтей бѣдняка Андрея. Здѣсь также множество интересныхъ подробностей: возвращеніе мальчика Гришутки съ боченкомъ для водки, припасенной для крестинъ, и его отправленіе за водкой, біографія дѣдушки Савелья, семейныя радости и приготовленія къ крестинамъ, возвращеніе дѣдушки домой, неожиданная смерть и похороны новорожденнаго. Все это — сцены, полныя трогательной простоты и граціи, точно такъ же, какъ рожденіе новаго внука, заставившаго забыть всѣ прошлыя горести. Но въ этой повѣсти есть уже, кромѣ смерти перваго ребенка, и элементъ драмы. Этотъ элементъ является здѣсь въ покупкѣ Гришуткой водки въ чужомъ откупѣ, за что Савелья притягиваютъ къ суду.

Къ числу бытовыхъ народныхъ картинъ, съ тѣмъ же идиллическимъ семейнымъ характеромъ, относятся два небольшихъ разсказа: *Прохожій* и *Свѣтлое Христово Воскресенье*. Первый — анекдотъ о томъ, какъ бѣднякъ-крестьянинъ, Алексѣй, пустилъ къ себѣ ночевать какого-то больного старика, который, въ награду за радушное гостепріимство, передъ смертью завѣщалъ ему кладъ; второй — народное повѣрье о какихъ-то таинственныхъ чумакахъ, обогатившихъ мужика посредствомъ чудесныхъ угольевъ. Въ томъ и другомъ разсказѣ изображается, собственно, не что иное, какъ избитое въ дѣтскихъ повѣстяхъ вознагражденіе добродѣтели и честной бѣдности; но не на эту случайную, даже чудесную награду должно быть обращено вниманіе читателя. Оба разсказа представляютъ деревенскіе проводы главнѣйшихъ годовыхъ праздниковъ: святокъ и ночи на Свѣтлое Воскресенье, и кромѣ того, нѣсколько симпатичныхъ образовъ крестьянъ. Первый разсказъ начинается яркимъ контрастомъ. Въ страшную метель, въ Васильевъ вечеръ, бредетъ, приближаясь къ деревнѣ, одинокій прохожій, а между тѣмъ крестьяне весело готовятся къ проводамъ праздника. Цѣлый рядъ народныхъ обычаевъ: выбрасыванье хлѣбныхъ зеренъ изъ

рукава ребятишками, подборъ этихъ зеренъ хозяйкой для будущаго урожая, ряженъ дѣвокъ и парней, колядскія пѣсни подь окномъ, обрядъ „смыванія лихоманки“, дающій поводъ представить типъ знахарки, гаданье дѣвицы подь окномъ, шутки и проказы ряженой молодежи на улицѣ и вечеринка у старосты. Все это даетъ много матеріала этнографическаго, за коимъ выступаютъ рѣзко очерченные народные характеры, особенно, староста, старостиха, парни и бѣднякъ Алексѣй, прогнанный изъ-за суетѣрнаго страха съ вечеринки и возвращающійся домой къ одинокой старушкѣ-матери. Эти послѣднія сцены, вмѣстѣ съ приходомъ и смертью прохожаго, написаны искусно и тепло. Тѣми же качествами отличаются въ другомъ разсказѣ (*Свѣтлое Христово Воскресенье*) описаніе бѣдной избы хозяина-вдовца Андрея, его отношеній къ единственной четырехлѣтней дочкѣ, съ которой онъ идетъ къ заутренѣ, дорога Андрея, въ церковь по пути съ батрачкой Дарьей, сопоставленіе двухъ бѣдняковъ, сочувствующихъ горькому положенію другъ друга; далѣе очень хорошо изображеніе полной народомъ церкви передъ заутреней, торжественнаго начала ея, христосованья, грустнаго возвращенія въ избу, гдѣ нѣтъ даже горячаго угля, чтобы затеплить предъ образомъ свѣчку (суетѣрный страхъ заставляетъ сосѣдей отказать Андрею даже и въ углѣ), и, наконецъ, наказанная жадность сосѣдей, пережегшихъ угольями одежду. — Все это умѣетъ передать поэтъ такъ интересно и ярко, всѣмъ этимъ даетъ столько живаго матеріала.

Если во всѣхъ, до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ нами, произведеніяхъ Григоровича идиллически выставляются почти исключительно *свѣтлыя* стороны крестьянской жизни, радости пахаря, его добродѣтели семейныя, его прилежный, настойчивый трудъ, вознаграждающійся сытымъ довольствомъ — то въ другихъ повѣстяхъ авторъ выставляетъ картины невѣжества, порока, жестокости, грубаго эгоизма, пьянства, тунеядства и поражающей нищеты; — словомъ, не скрываетъ и тѣхъ пороковъ, которые такъ обыкновенны въ нашемъ народѣ и нерѣдко бываютъ причиною гибели и отдѣльных личностей, и цѣлыхъ семей. Здѣсь необходимо встрѣчается поэтъ и съ одной изъ главныхъ причинъ народныхъ бѣдствій — съ крѣпостнымъ правомъ, изображеннымъ у него со всею наготою потрясающей душу правды.

Страшной жертвой поразительнаго невѣжества, грубости, безчеловѣчія, является эта помѣшанная, двадцатидвухлѣтняя, высокая, блѣдная, худая, съ продолговатымъ лицомъ и необыкновенно тонкими чертами, въ безобразныхъ лохмотьяхъ, Маша, прижимающая къ груди палку, которую спеленала она тряпьемъ на подобіе грудного младенца“. (*Мать и дочь*). Что же за причина сумасшествія этой, нѣкогда первой во всемъ селѣ красавицы, хороводницы, на которую и чужіе-то люди дивовались, — этой мастерицы на всякую работу, а потомъ отличной жены и матери? А причина вотъ такая. На Святой пришелся приходскій праздникъ. Отгуляли гулянки и разошлись по избамъ спать. „Въ Машиной избѣ народу было много:“ три брата женатыхъ, окромя ея мужа. Ночью золовка Дарья, вѣроятно, какъ и всѣ прочіе, подгулявшая ради праздника, „заспала своего ребенка, однолѣтка съ Машинымъ“, на бѣду звавшагося такъ же, какъ и ея сынъ, Петрушкой. „Дарья всполохнулась, да и давай кричать, что есть мочи:“ „Батюшки! Петрушка померъ!“ Машѣ и покажись съ просонья, что померъ ея парнишко. Бросилась она съ полатей; съ перепугу-то зыбки не найдетъ; да и гдѣ найти? давка, тѣснота! темно, хоть глазъ выколи; она и давай метаться, какъ угорѣлая; ударилась со всего маха объ земь, мечется, кричитъ: запужалась больно съ просонья-то! Они-то, рассказываетъ старуха-мать, въ толкѣ тогда и не взяли, да зачали ее бить; она еще пуще; они взяли, связали ее, да и стащили въ сѣни... И не то, чтобы изъ злобы какой: а просто народъ съ похмѣлья; къ тому же и грѣхъ такой прилучился... Ну, какъ пришли это они опосля въ сѣни, смотрятъ: Маша моя сидитъ посредь пола, сидитъ да бормочетъ не вѣсть что... ничего, даже дѣтей не признаетъ... Съ той самой поры повредила... Какъ же отнеслись къ несчастной мужъ и его родные, которые всѣ прежде не могли ею нахвалиться? Она роднымъ опротивѣла. Вѣстимо, кабы лаской да бережью брали, оно, можетъ статься, и такъ-бы прошло, отлегло-бы по-маленьку; ну, а какъ противна стала, и давай они поѣдомъ ѣсть ее... Знамо, дурость то наша крестьянская!“ Къ этимъ простодушнымъ словамъ прибавлять нечего; но какъ же отнеслась старуха къ своему несчастію; понимаетъ ли она его? пробовала ли поискать хоть доктора, свезти дочь въ городъ — въ больницу? Судя по ея разсказу,

она, отчасти, какъ будто, и понимаетъ главную причину своего горя; но, съ другой стороны, простой умъ недовольствуется причинами простыми, какъ бы очевидны онѣ ни были. Старухѣ кажется, что дочку извели, и тащится она въ глухую, суровую, ненастную осень, съ сознаваемою опасностью простудить больную, которая рветъ на себѣ послѣднюю, плохую, одежку, верстъ за пятьдесятъ въ Беззубово: „добрые люди сказываютъ, живетъ вишь тамъ какой-то мужичокъ, — порчу, говорятъ, отводитъ всякую. Охъ, извели мою Машу, извели, родимый!“ Что же сказалъ мужичокъ, чѣмъ утѣшилъ старуху? Она возвращается такая спокойная, кроткая, утѣшенная надеждой на выздоровленіе несчастной. Мужичокъ сказалъ; „Не отъ человѣка, говорить, отъ Господа Бога! Тутъ, говорить, человѣкъ не властенъ, на то Его святая воля!“ По словамъ автора, „старушка укрѣпилась вѣрою, и теперь будетъ переносить съ святою покорностію, терпѣливо и безропотно удары Провидѣнія“. Конечно, слава Богу, если можетъ укрѣпить человѣка религія; но потрясающій результатъ невѣжества и безчеловѣчія существуетъ; и подобныхъ результатовъ въ огромной массѣ нашего народа гибель... Примѣръ такового результата представленъ въ повѣсти „Деревня“. У больной и хилой скотницы рождается дочь. Мать умираетъ въ родахъ. Какъ же относится къ сиротѣ міръ? Баба ссора изъ-за дыравыхъ обносковъ покойницы, тутъ же, у неуспѣвшаго еще охладѣть трупа, встрѣчаетъ первый плачъ дѣвочки, по жребію доставшейся на воспитаніе новой скотницѣ, Домнѣ. А у той цѣлыхъ полдюжины своихъ дѣтей, и она тутъ же *„проголосила, что жутко будетъ проклятому пострѣлу, навязавшемуся ей на шею“*. И вотъ, женщина, въ сущности, вовсе не злая и не жестокая, а просто безалаберная, „неречная“, раздражительная, готовая хоть на комъ-нибудь выместить собственные домашнія неудовольствія, сварливая баба начинаетъ воспитывать дѣвочку. „Встѣ и колотить она сиротку, лается на нее такъ, что хоть вокъ изъ избы бѣги; усопшую мать не оставитъ даже въ покоѣ, и при каждомъ ударѣ такого наговоритъ на покойницу, чего и вовсе не было“. „За что бьешь, дурища, дѣвочку?“ спрашиваютъ воспитательницу! — „А такъ, для будущности пригодится“, отвѣчаетъ Домна, совершенно оправдывая слова автора: „страсть къ битю, подзатыльникамъ,

пинкамъ, нахлбучкамъ, затрещинамъ — не послѣдняя страсть въ простомъ человѣкѣ. И растетъ несчастный ребенокъ подъ побоями, руганью и попреками, съ семи лѣтъ уже приставленный смотрѣть за гусями; — растетъ среди условій, губящихъ множество ему подобныхъ, въ самыхъ раннихъ лѣтахъ дѣтства, среди грубѣйшихъ суевѣрныхъ разсказовъ глупыхъ деревенскихъ бабъ, да калѣвъ-побирушекъ переходящихъ, и — выходитъ изъ ребенка дѣвушка загнанная, робкая, слабая, заключенная въ себя самой, глубоко чувствующая свое горькое положеніе, сдѣлавшееся еще хуже съ возвращеніемъ домой съ фабрики мужа Домны, пьяницы и буяна. Но вотъ, пріѣхавшій изъ чужихъ краевъ баринъ захотѣлъ показать женѣ еще никогда невиданную ею крестьянскую свадьбу, и бѣдняжку выдаютъ замужъ неволею, по барскому приказу, за Григорія, а тотъ начинаетъ, вмѣстѣ съ своей родней, поѣдомъ ѣсть ни въ чемъ неповинную жену, въдобавокъ оказывающуюся слабой, болѣзненной работницей. Побой, къ которымъ поощряетъ его „сѣдой, какъ лунь, мужикъ:“ — „пѣстуй, пѣстуй ее, пускай-де знаетъ мужа: оно добро“ — въ конецъ разстраиваютъ и безъ того слабое здоровье Акулины. Намѣренно доводитъ ее до могилы мужа родня, и Акулина умираетъ, оставивъ на произволъ судьбы дочь. Мученія, претерпѣваемые Акулиной съ перваго же дня замужества, безобразія вѣчно пьянаго мужа, сцена, когда ее, полумертвую, выгоняютъ въ рубищѣ на холодъ, смерть ея, и, наконецъ, раздирающая сцена похоронъ, когда пьяный мужъ пускаетъ вскачь розвальни съ плохо сколоченнымъ гробомъ, за которымъ бѣжитъ съ крикомъ и воплемъ ребенокъ — дочь покойницы — все это такая потрясающая, голая правда, что мы даже не рѣшаемся предложить эту повѣсть для чтенія дѣтямъ, но особенно рекомендуемъ ее для назиданія народу.

То же отсутствіе всякаго состраданія къ больному, страдающему человѣку, та же грубость нравовъ, равнодушіе къ несчастію ближняго рельефно выставлены въ небольшомъ прекрасномъ разсказѣ *Бобыл*. Никто изъ цѣлой толпы ввалившейся на скотный дворъ поглазѣть на разбитаго грудью восьмидесяти-лѣтняго кровельщика, притащившагося за девяносто верстъ, который, не будучи въ состояніи идти далѣе, на родину, упалъ на скотномъ дворѣ, „никто не тронулся

съ мѣста: всѣ глядѣли на него, вылупя глаза, съ какимъ-то притупленнымъ любопытствомъ“. Видать, что на бѣднякѣ лица нѣтъ, что онъ, того и гляди, Богу душу отдастъ, и никому изъ цѣлой деревни не приходитъ въ голову приютить старика, помочь ему. Мало того, — его насильно ставятъ на ноги, нахлобучиваютъ на голову шапку и ведутъ вонъ изъ избы. „Опустивъ голову, бѣднякъ безмолвно притащился въ сѣни, преслѣдуемый шумною толпою, которая чуть не сшибла съ ногъ его вожаковъ, ругавшихся на всѣ бока; но, когда его вывели на улицу, когда неумолимый дождь началъ снова колотить его въ спину, когда студеные лохмотья рубашки, вздуваемые свирѣпымъ вѣтромъ, начали хлестать въ его изнуренную грудь, старикъ поднялъ голову, и помертвѣлыя уста его невнятно прошептали о пощадѣ: но яростное завываніе бури заглушало слова страдальца, и его повлекли прямо къ околицѣ“, за границу владѣній помѣщицы, гдѣ бѣднякъ къ утру и умеръ.

Но что же побуждаетъ къ такому безчеловѣчному поступку не только заглубую дворню, но и добрейшую старушку помѣщицу, хотѣвшую-было и полѣчить больного и приказавшую даже положить старичку въ сумку на дорожку бѣлаго хлѣба. Да то же соображеніе, какое побудило мужика у Пушкина оттолкнуть трупъ утопленника: „Судъ найдетъ, отвѣчай-ка... Съ нимъ я въ вѣкъ не разберусь“... Эта боязнь суда, какъ нельзя лучше, выражается въ слѣдующихъ словахъ помѣщицы, когда она узнаетъ, что къ трупу, найденному на чужой землѣ, уже пріѣхалъ становой: „Божья Матерь! Святый Сергій угодникъ... охъ! — простонала наконецъ Марья Петровна; голова ея тряслась сильнѣе обыкновеннаго, и теплыя благодарственные слезы текли по изсохшимъ ея щекамъ“. А за этой боязнью суда видится и другое, столь общее и нашему простолюдину, и даже образованному классу, соображеніе, высказываемое въ этомъ же рассказѣ приживалкою: „Богъ съ нимъ! Своя рубашка къ тѣлу ближе“. Набожная помѣщица-благодѣтельница соболевнуетъ о несчастненькомъ: сама идетъ навѣстить его на скотный дворъ, готовить ему лѣкарства; но при первой мысли о вѣроятности смерти чужого мужика, сопряженной съ хлопотами, а можетъ быть и взяткой, велитъ выгнать его на вѣрную смерть на чужой землѣ. А народъ такъ даже и не соболевнуетъ, а про-

сто грубо выталеиваетъ старика: „что съ нимъ больно кобелиться, ведите его, и все тутъ; чего ждете? Небось хотите, чтобъ померъ, да всѣмъ бѣды наливаль!“

Острогорскій.

Художественная сторона и идея романа „Рыбаки“.

Григоровичъ создалъ романъ въ трехъ частяхъ изъ исторіи одного рыбацкаго семейства. Легко видѣть, какая тяжелая задача предстояла автору — развить въ формѣ художественнаго романа жизнь до того несложную, что первое слово каждаго лица заключаетъ въ себѣ всѣ остальные его рѣчи, и первая мысль отражаетъ уже цѣлый рядъ мыслей, какія будутъ приходить къ нему во все существованіе его. Однакожъ авторъ исполнилъ свое дѣло съ замѣчательнымъ искусствомъ и твердой рукой. Ни разу не отрывается вы отъ романа съ усталостью или недоброжелательнымъ чувствомъ, благодаря мастерскимъ очеркамъ, посредствомъ которыхъ ярко представлены глазамъ вашимъ типическія лица, въ родѣ лѣниваго старика Акима, испорченнаго и кичливаго чада сельскихъ фабрикъ Захара, вялаго, но коварнаго цѣловальника Герасима и проч. Эти ловкіе очерки, весьма похожіе на эскизы художниковъ, еще обставлены подробностями, которыя доканчиваютъ поражающую истинность и оригинальность ихъ. Дудочки Акима, которыми любитъ онъ забавлять дѣтей, притонъ Герасима, табачный кисеть и фабричное общество Захара, гдѣ онъ играетъ роль денди, — все это исполнено жизни и природы. Рѣдкая изъ нашихъ *tableau de genre* содержитъ столько характерныхъ подробностей, сколько ихъ собрано вокругъ каждаго лица въ романѣ. Авторъ даже не забылъ мелочей, уже дѣйствительно принадлежащихъ больше живописи, чѣмъ собственно описанію, какъ, напримѣръ, нѣкоторыя подробности въ фигурѣ молодой Дуни, моющей бѣлье на ручейкѣ, и проч. Съ инстинктомъ рисовальщика останавливается онъ также на эффектахъ, какіе имѣютъ, при извѣстномъ освѣщеніи дня или ночи, плетень, уголъ избы, рука, отбрасывающая тѣнь на лицо, и проч. и проч.; да и тотъ же инстинктъ рисовальщика преобладаетъ и въ его описаніяхъ мѣстности и природы. Тутъ

гораздо болѣе живописи, т.-е. старанія подмѣтить краски и формы предметовъ, чѣмъ поэтическаго созерцанія и передачи прямыхъ впечатлѣній. Въ такомъ духѣ представлены, впрочемъ, съ несомнѣннымъ искусствомъ, картины весны, бури на Оке и всего театра дѣйствія, а въ описаніи ярмарки села Комарева, ночлега гуртовщиковъ подъ открытымъ небомъ, и во многихъ другихъ описаніяхъ авторъ достигъ широты изложенія и кисти, нечасто встрѣчающихся вообще въ его картинахъ. Со всѣмъ тѣмъ узелъ романическаго интереса составляютъ не эти превосходныя частности и не эти вводныя лица, а борьба стараго поколѣнія простолюдиновъ, представителями котораго являются всегда суровый рыбакъ Глѣбъ Савиновъ и всегда кроткій дѣдушка Кондратій, съ молодымъ поколѣніемъ, изображеннымъ въ лицахъ приемыша и дѣтей Глѣба. Тутъ развивается настоящая драма, отъ столкновенія двухъ противоположныхъ настроеній, — драма, въ которой новое поколѣніе, за исключеніемъ только молодого Вани, обрисованнаго, впрочемъ, довольно слабо, пожертвовано въ нравственномъ отношеніи типамъ стараго времени. Авторъ на сторонѣ прошлаго и бывалыхъ людей. Они у него даже упорны, безпечны, гнѣвны съ достоинствомъ, между тѣмъ какъ страсти и наклонности потомковъ ихъ поставлены на низшую степень, и по инстинкту, и по выраженію, и по цѣли своей. Такъ ли это въ самомъ дѣлѣ, мы не знаемъ, да, вѣроятно, и самъ авторъ, спрошенный добросовѣстно, не могъ бы отвѣчать на вопросъ съ полнымъ убѣжденіемъ. Для насъ ясно, что это только литературная мысль, имѣющая мало общаго съ настоящимъ бытомъ, но безъ которой уже не могъ бы существовать романъ. Что это мысль счастливая — безспорно; что на ней движется весь механизмъ романа, со всѣми своими колесами и поршнями — тоже безспорно; но что она обязана существованіемъ только литературной необходимости, бросается въ глаза съ перваго раза. Это не существенная черта самой жизни, а только пружина автора, безъ которой нельзя было бы поднять и самую жизнь. Такъ, впрочемъ, всегда случается, лишь только вводится въ литературу и искусство простонародный бытъ. Онъ требуетъ помощи извнѣ, мысли, взятой со стороны, для оживленія своего. Это совсѣмъ не то, когда онъ сочиняетъ про себя, какъ извѣстно. Съ минуты появленія своего въ словесности простонародный бытъ требуетъ

уже драгомана, а драгоманъ дѣлается при этомъ столь же значителенъ, какъ самъ довѣритель, и весьма часто важнѣе своего довѣрителя.

Чѣмъ ближе вглядываешься въ романъ Григоровича, тѣмъ яснѣе видишь, что литературная выдумка просачивается сквозь всѣ слои и толщи и проникаетъ почти во всѣ его представленія наравнѣ съ чертами изъ дѣйствительнаго быта. Извѣстно всякому, что романъ требуетъ строгой послѣдовательности и правильнаго развитія характеровъ. Для успѣха романа надобно, чтобы каждое его лицо въ каждую минуту было вѣрно самому себѣ. Такъ создавались всѣ хорошіе романы въ Европѣ, и Григоровичъ не могъ измѣнить, разумѣется, существенныхъ условій этого рода произведеній. Глѣбъ Савиновъ на каждой страницѣ романа сохраняетъ у него постоянно свою суровую, дѣльную, взыскательную фізіономію. Ни разу не расправляются добродушіемъ черты его лица, и ни разу онъ не забывается. Даже въ минуту смерти набѣгаютъ тѣ же самыя морщины на лобъ его, какія мы видѣли при первомъ съ нимъ знакомствѣ, хотя, надо сказать, описаніе смерти Глѣба Савинова и какого-то вдохновеннаго усиленнаго труда передъ нею принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ талантливаго рассказчика. То же самое видѣли мы и въ отношеніи добродушнаго, покорнаго судьбѣ Кондратія: онъ крѣтокъ во всякую минуту своей жизни, всегда говоритъ однѣ мягкія успокаивающія рѣчи, и ни одной ноты не взялъ онъ во все свое существованіе ни выше ни ниже надлежащаго. Та же система однообразнаго повторенія родовыхъ признаковъ лица, такъ сильно дѣйствующая на воображеніе читателя, прилагается и къ второстепеннымъ лицамъ романа. Между двумя сыновьями Глѣба, Петромъ и Василиемъ, установились особыя отношенія, въ которыхъ Петръ играетъ главную роль, Василій находится подъ нравственнымъ вліяніемъ старшаго брата. Когда возвращаются они черезъ нѣсколько лѣтъ опять въ отцовскій домъ и на сцену романа, Петръ снова играетъ роль руководителя, Василій снова находится подъ тиетворнымъ господствомъ его. И мы нисколько не намѣрены ставить въ вину автора этого тверженія задовъ, если смѣемъ такъ выразиться: оно принадлежитъ къ извѣстнымъ необходимымъ, безъ которыхъ авторъ романа обойтись не можетъ, какъ мастеръ — безъ своего инструмента, и которыя

способствуютъ ему для выраженія характера выпукло и для произведенія особеннаго впечатлѣнія на память читателя. Мы только спрашиваемъ: въ какомъ отношеніи необходимость эта находится къ жизни и къ истинѣ? Положительнаго отвѣта мы опять дать не можемъ, но можемъ заключить а priori, что лицо изъ простаго быта чаще всякаго другого должно срываться съ голоса и чаще переходить на другую сторону, потому что оно лишено тѣхъ искусственныхъ подпорокъ, которыя удерживаютъ человѣка весь вѣкъ на одномъ мѣстѣ и въ одномъ чувствѣ. Нѣтъ достаточныхъ причинъ, чтобы онъ подпалъ дѣйствию моральнаго столбняка, изъ котораго составляются романистами типы, наиболѣе яркіе и наиболѣе живущіе въ воспоминаніи читателя. Онъ — человѣкъ впечатлѣнія, а не принятой заранѣе мысли, которая, наконецъ, вращается въ плоть и кости; онъ не наблюдаетъ за собой со строгостью школьнаго учителя и не ведетъ счета ошибкамъ или проступкамъ своимъ. Какъ живое лицо, онъ, разумеется, имѣетъ опредѣленные черты и наклонности; но состояніе общественнаго мнѣнія въ его кругѣ не такъ сурово, чтобы держать его постоянно въ одной позѣ и не позволять частыхъ отлучекъ по сторонамъ. Признаемся, все это кажется намъ очевиднымъ, и романъ Григоровича еще болѣе укрѣпляетъ въ насъ мнѣніе, что отъ передачи въ искусствѣ хода простонародной жизни можно ожидать много наслажденія, картинъ, оригинальныхъ лицъ, превосходныхъ описаній, но врядъ ли настоящаго познанія ея, какъ предмета для обсужденія и заключенія. А между тѣмъ многіе изъ писателей и весьма большое число читателей имѣютъ въ виду именно эту послѣднюю цѣль; но это все равно, что по вышинѣ египетской пирамиды судить о ростѣ людей, построившихъ ее.

Съ благодарностью къ автору оставляемъ мы его романъ, доставившій намъ много прекрасныхъ минутъ, и не упоминаемъ даже о нѣкоторой искусственности языка, которая замѣчается въ рѣчахъ его дѣйствующихъ лицъ всякій разъ, какъ они начинаютъ разсуждать. По наружъ это языкъ простонародья, со всѣми приемами своими, и, однакожъ, вы чувствуете, что это языкъ не подслушанный, а сочиненный. Изрѣдка проглядываютъ въ немъ фразы, видимо придуманныя авторомъ для выраженія какой-либо отвлеченной мысли, влагаемой въ уста

простолюдина. Фраза тогда по конструкціи и виду совершенно простонародна; но въ ней видится рука автора и даже процессъ ея составленія, а въ отношеніи самого говорящаго лица она кажется скорѣе затверженною на память, чѣмъ такой, которая безъ вѣдома сорвалась съ его языка. При попыткѣ передать отвлеченныя мысли простонародья, и притомъ въ самомъ ходу дѣйствія, подобныя фразы должны являться, и разборомъ ихъ мы могли бы еще разъ подтвердить все теперь сказанное о неизбѣжномъ вмѣшательствѣ самого сочинителя въ повѣсть, рассказываемую имъ, о неизбѣжныхъ порывахъ, гдѣ авторъ долженъ иногда говорить за свои лица, какъ скрытый подъ полотномъ комедіантъ—за свои куклы. Общее превосходное впечатлѣніе цѣлаго романа Григоровича, конечно, скрываетъ эти недостатки; но они существуютъ, и въ менѣе обдуманнхъ, менѣе художественныхъ рассказахъ являются глубоко и ярко. Вмѣстѣ съ публикой, мы ждемъ отъ Григоровича новыхъ произведеній въ томъ же родѣ, и ждемъ съ живымъ участіемъ. Кромѣ прямого удовольствія, каждое изъ нихъ возбуждаетъ еще много вопросовъ и мыслей по поводу своего содержанія—свидѣтельство почти несомнѣнное, что содержаніе взято изъ нѣдръ жизни и привязано къ намъ тонкими, неразрывными нитями. *Анненковъ.*

Картины русской природы и крестьянскаго быта въ романѣ „Рыбаки“.

Любимъ ли мы, русскіе, природу? Какъ описывали эту природу наши, русскіе писатели? и чему мы удивлялись, чѣмъ мы восхищались прежде, нежели осмотрѣлись и стали восхищаться нашими полями, нашими рѣками? На эту мысль невольно навело насъ заключеніе романа Григоровича „Рыбаки“: „Я былъ на Волгѣ въ первые годы моего дѣтства. Въ памяти моей успѣли изгладиться живописные холмы, лѣса и села, которые на протяженіи многихъ и многихъ сотенъ верстъ смотрятся въ свѣтлыя благодатныя волжскія воды. Судьба забросила меня въ другую сторону, перенесла на другую рѣку: съ тѣхъ поръ я не разлучался съ Окою. Не знаю, обдѣлила ли меня судьба, или наградила, знаю только,

что, проживъ двадцать-пять лѣтъ сряду на Ока, я ни разу не жаловался. Я скоро сроднился съ нею, и теперь люблю ее, какъ вторую отчизну. Не вините же меня въ пристрастіи, — въ нѣкоторыхъ случаяхъ пристрастіе извинительно, — не вините же, если берега Оки, ея окрестности и маленькія рѣчки, въ нее впадающія, кажутся мнѣ краше и живописнѣе другихъ береговъ, мѣстностей и рѣчекъ Россіи. Не стану распространяться о преимуществахъ одной рѣки передъ другою, не скажу, напимѣръ, что Ока пространнѣе Волги и тому подобное... Тутъ же сознаюсь, что необъятное, обаяющее раздолье, жизнь и кипучая одушевленная дѣятельность принадлежатъ Волгѣ. Ока же молчаливѣе, мельче и безрыбнѣе — по крайней мѣрѣ, въ нашихъ мѣстахъ. Она вполне оживляется только въ половодье. Въ остальное время года, и особенно лѣтомъ, рѣдко увидите вы на ней нескончаемые караваны расшивъ; не промелькнутъ передъ очами вашими вереницы громадныхъ судовъ и барокъ, нагруженныхъ богатствомъ цѣлаго края; рѣдко услышите вы тѣ звонкіе клики и удалыя, веселящія сердце пѣсни бурлаковъ, которыя немолчно говорятъ, раздаются на Волгѣ. Не тревожатъ также Оку колеса пароходовъ: невозмутимо гладкою скатертью стелются ея мирныя воды. Барка цѣликомъ повторяется на ровной ея поверхности, — повторяется вмѣстѣ съ высокимъ бородатымъ рулевымъ въ круглой бараньей шапкѣ, — повторяется съ соломеннымъ шалашомъ, служащимъ работникамъ защитой отъ дождя и зноя, съ бѣлой костлявой бичевой клячей, которая, смиренно стоя на носу и пережевывая тощее сѣно, терпѣливо ждетъ своей участи. Огонекъ, зажженный ночью на баркѣ, отражается въ водѣ, какъ въ зеркалѣ. Въ знойную лѣтнюю пору Ока оживляется, по большей части, однѣми бѣлыми чайками или рыболовами, спующими, какъ угорьные, по всѣмъ возможнымъ направленіямъ. На песчаныхъ отмеляхъ, выдающихся иногда изъ середины рѣки, — отмеляхъ, усыянныхъ мелкими, бѣлыми, какъ сахаръ, раковинами, покрытыми кой-гдѣ широкими пахучими листьями лопуха, трещать цѣлыя полчища коростелей, чибисовъ, куликовъ, кой-гдѣ надъ ними, стоя на одной ногѣ и живописно изогнувъ шею, виситъ сѣрая цапля. Къ вечеру водворяется совершеннѣйшая тишина; какъ словно приостанавливается тогда даже самое теченіе: поверхность рѣки не дрогнетъ. Съ такою отчетли-

востью повторяется въ водѣ высокій хребетъ нагорнаго берега, что нѣтъ никакой возможности опредѣлить границы между водою и землею: берегъ кажется продолженіемъ рѣки. Въ этомъ часто темномъ отраженіи начинаютъ сверкать, какъ искры, играющія рыбки, появляются круги, и долго потомъ дрожать серебряныя, разбѣгающіяся нити. Тихо, безъ шума, безъ погрома, отрываются тогда отъ берега легкіе челноки рыбаковъ, которые спѣшатъ забросить свои верши.

„Не знаю, какъ вамъ, мой читатель, но что до меня касается, люблю я эту торжественную тишину посреди широкаго простора водъ, замкнутаго высокимъ, величественно живописнымъ берегомъ. Въ виду природы на душу впечатлительную нисходятъ иногда минуты невообразимо благодатныя и свѣтлыя. Душа превращается какъ будто тогда въ глубокое, невозмутимо тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее въ себѣ голубое небо, надъ нимъ раскинувшееся, и весь міръ, его окружающій. Достаточно уже ничтожнаго звука, чтобы докучливо потревожить сладкую задумчивость. Малѣйшій шумъ въ эти созерцательныя минуты возмущаетъ душу такъ же точно, какъ возмущается заснувшая поверхность озера отъ слабаго прикосновенія: все давнымъ-давно уже смогло, а между тѣмъ водяной кругъ все еще дрожитъ на его ровномъ зеркалѣ... Къ тому же, тишина никогда не бываетъ безмолвна. Чуткій, счастливый слухъ всегда сумѣетъ передать душѣ таинственно робкіе, но гармоническіе напѣвы...

„Итакъ, тишина, въ которую большую часть года погружены берега Оки, придаетъ имъ въ глазахъ моихъ еще новую прелесть. Особенно пріятно любоваться высокимъ берегомъ, спускаясь въ лодкѣ внизъ по теченію отъ Серпухова до Коломны“.

„То покрытый плотной кудрявой чашей орѣшника или молодого дубняка, то спускаясь къ водѣ ярко-зелеными закругленными, какъ куполъ, холмами, то исполосованный пашнями на подобіе шахматной доски, берегъ этотъ перерѣзывается иногда пропастями, глубина которыхъ даетъ еще сильнѣе чувствовать подъемъ хребта подъ поверхностью рѣки. Виды измѣняются непрерывно: точно вы стоите на мѣстѣ, и развертываютъ передъ вами громадную панораму. Кой-гдѣ, по зеленымъ косогорамъ, то плавнымъ, то крутымъ, лѣнятся села, вьются тропинки, кажущіяся издали нѣжными подос-

ками, нарисованными тонкою, прихотливою кистью. Тамъ и самъ бѣлѣютъ монастыри и скромныя деревенскія церкви, съ зеленѣющими кровлями и блистающими на солнцѣ крестами. Нерѣдко, между кремнистыми, отвѣсными обрывами, открываются, какъ бы для контраста, свѣтлыя улыбающіяся долины. Рѣзвые ручьи и маленькія рѣчки, въ родѣ Смедвы, мѣстами заслоненныя ветлами, живописно извиваются посреди ярко-зеленыхъ долинъ, покрытыхъ мелкимъ березнякомъ. Иногда весь берегъ представляетъ одну сплошную, синеватую стѣну сосноваго бора, который не прерывается цѣлыя версты. На песчаныхъ прибрежныхъ отмеляхъ мелькаютъ кой-гдѣ лачужки рыбаковъ, съ прислоненными къ нимъ баграми и саками, съ раскинутымъ бреднемъ, лежащими неподалеку вершами и черными, опрокинутыми вверхъ, насквозь просмоленными челноками. Мѣстами берегъ, подмытый водой, осыпался весь сверху донизу и отвѣсною стѣною стоитъ надъ водой, показывая свои мѣловые, глиняные и песчаные слои, пробуравленные норками стрижей, водяныхъ ласточекъ. Въ такихъ мѣстахъ этихъ птицъ появляется обыкновенно несмѣтное множество. Надъ ними, въ неизмѣримой вышинѣ неба, вы уже непременно увидите беркута, родъ орла: распластавъ дымчатая крылья свои, зазубренные по краямъ, распушивъ хвостъ и издавая слабый крикъ, похожій на пискъ младенца, онъ стоитъ неподвижно въ воздухѣ или водитъ плавные круги, постепенно понижаясь къ добычѣ. Мѣстами берегъ удаляется, расходитъ амфитеатромъ и даетъ мѣсто значнымъ дугамъ, оживленнымъ одиночными столѣтними дубами, подъ тѣнью которыхъ отдыхаетъ стадо ближней деревни. Но всего не опишешь! Однимъ словомъ, великолѣпная, непрерывная, блестящая панорама, которая ждетъ еще своего поэта и живописца. Но поэты и живописцы... впрочемъ, намъ нѣтъ до этого дѣла.

Не думайте, однакожъ, что луговой берегъ не имѣлъ также прелести. Есть время въ году, когда онъ кажется еще разнообразнѣе нагорнаго берега. Время это — Петровки. Не мѣшаетъ вамъ сказать мимоходомъ, что дуга эти въ общей сложности могутъ составить добрый десятокъ маленькихъ германскихъ герцогствъ; они проходятъ непрерывною лентою черезъ нѣсколько губерній, — однимъ словомъ, длина ихъ равняется длинѣ Оки. Въ ширину простираются они среднимъ числомъ верстъ на восемь, и оканчиваются тамъ, гдѣ начи-

наются лѣса и села. Ближе не селятся къ рѣкѣ, за водопольемъ. Къ июлю пространство это представляетъ сплошное море травъ, въ которыхъ крестьянскіе ребятишки могутъ свободно прятаться, какъ въ лѣсу. Мириады душистыхъ цвѣтовъ и растений разливаютъ въ вечернемъ воздухѣ свое благоуханіе. Въ знойный полдень, пестрое цвѣтное море какъ словно зыблется и переливается изъ края въ край, хоть вѣтеръ не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ. Сюда-то въ Петровки стекается народъ изъ окрестныхъ деревень и толпы косарей, которыхъ заблаговременно нанимаютъ къ этому времени жители Комарева, Горь, Болотова, Озеръ и другихъ. Въ нашемъ простонародіѣ покосъ считается празднествомъ. Все является сюда въ воскресной пестротѣ своей. Если бы собрать весь кумачъ, всѣ платки, понявы, пестрые рубашки и позументы, которые пестрѣютъ здѣсь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство въ пятьдесятъ верстъ окружности. Народъ располагается кучками, артелями или даже цѣлыми вотчинами, каждая семья подлѣ своей подводы, подлѣ котелка. Три недѣли сряду проживаетъ здѣсь нѣсколько тысячъ человѣкъ. Подымитесь на нагорный берегъ, — подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькаютъ передъ вами, какъ звѣзды, имъ конца нѣтъ въ обѣ стороны, они пропадаютъ за горизонтомъ... Съ восходомъ солнца весь этотъ луговой берегъ представляетъ картину самаго полного, веселаго оживленія. Косари выстраиваются въ одну линію, и дружно звеня косами, начинаютъ подвигаться къ рѣкѣ, укладывая направо и налево тучные ряды травы, перемежаемой съ клеверомъ, душистою галкой, кашкой, медуницей и сотнями другихъ цвѣтовъ. Такъ подвигаются они, однаковъ, цѣлыя двѣ недѣли, между тѣмъ, какъ бабы и дѣвки, слѣдуя за ними съ граблями, ворочаютъ сѣно или навиваютъ его островерхими стогами. Вотъ тогда-то полюбуйтесь этими лугами, полюбуйтесь въ праздникъ, когда по всему ихъ протяженію, несется одинъ общій говоръ тысячи голосовъ и одна общая пѣснь: точно весь русскій людъ собрался сюда на какое-то семейное празднество! Давно уже наступила ночь, давно зажглись костры. Уже заря брезжить на востокъ, уже серебряный серпъ мѣсяца клонится къ горизонту и блѣднѣетъ, а пѣснь, между тѣмъ, все еще не умолкаетъ... и нѣтъ, кажется, конца этой пѣснѣ, какъ нѣтъ конца этимъ раздоль-

нымъ лугамъ. Пѣснь эту затанули еще, можетъ-быть, въ далекой губерніи, и вотъ понеслась она — понеслась дружнымъ неумолкаемымъ хоромъ и постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губерніи, а тамъ, подхваченная волжскими косарями, пойдетъ до самой Астрахани, до самаго Каспійскаго моря!... и если пѣснь эта, если видъ этихъ луговъ не порадуетъ тогда вашего сердца, если душа ваша не дрогнетъ, но останется равнодушною, совѣтую вамъ пощупать тогда вашу душу; не каменная ли она... а если не каменная, то ужъ вѣрно способна только оживляться за преферансомъ и волноваться при словахъ: „пасъ, ремизъ, куплю“ и прочей дряни...”

Прочитавъ эту прекрасную картину береговъ Оки, мы невольно спросили сами у себя: почему это простое описаніе такъ трогаетъ насъ, хотя на берегахъ Оки нѣтъ тѣхъ величественныхъ скалъ, которыя старался прославить Батюшковъ своею „Финляндію“, нѣтъ Граубиндена и Сентъ-Готарда, съ вершины которыхъ путешественники наши наслаждались „прекрасною натурою“, какъ тогда говорили.

Кто припомнитъ старинныя знаменитыя картины „натуры“, тотъ согласится, что въ нихъ играли роль или необыкновенно величественная природа, какую находимъ въ Швецаріи, Америкѣ, Индіи, или самая сладкая пастушеская жизнь, подъ предлогомъ которой описывали тихія рѣчки и свѣтлыя ручейки, пурпуровый закатъ солнца и селянина, медленно возвращающагося въ скромную хижину свою. Отъ этого описанія были двухъ родовъ: грандіозныя, какъ, на примѣръ, описаніе Финляндіи Батюшкова, или сладкія, пастушескія идиллическія передѣлки на всевозможный ладъ Виргилія, Теокрита, Делиля. Какъ далеко отъ всѣхъ этихъ описаній до слѣдующаго, на примѣръ, всѣмъ извѣстнаго:

„Абакумъ Ойровъ! ты, братъ, что! гдѣ, въ какихъ мѣстахъ шатаешься? Заесло ли тебя на Волгу и возлюбилъ ты вольную жизнь, приставши къ бурлакамъ?... И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ теперь Ойровъ? гуляетъ шумно и весело на хлѣбной пристани, порядившись съ купцами. Цвѣты и ленты на шляпѣ, гдѣ веселится бурлацкая ватага, прощаясь съ женами, высокими, стройными, въ юнистахъ и лентахъ; хоро-
воды, пѣсни, кипитъ вся площадь, а носильщики между тѣмъ при крикахъ, браняхъ и понуканьяхъ, нацѣпляя крючкомъ

по девяти пудовъ себѣ на спину, съ шумомъ сыплютъ горохъ и пшеницу въ глубокія суда, валятъ кули съ овсомъ и крупой, и далече виднѣются по всей площади кучи наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мѣшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлѣбный арсеналь, пока не перегрузится весь въ глубокія суда-сурики и не понесется гусемъ вмѣстѣ съ весенними льдами безконечный флотъ. Тамъ-то вы работаетесь бурлаки! и дружно, какъ прежде гуляли и веселились, примитесь за трудъ и потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пѣсню“.

Какое огромное разстояніе, между такимъ чисто русскимъ, живописнымъ и звучнымъ описаніемъ волжской пристани и прежними идеальными, другъ на друга похожими описаніями! И однакожь это измѣненіе совершилось, благодаря новѣйшимъ нашимъ писателямъ. Болѣе всего способствовали къ воспроизведенію нашей русской природы романы, взятые изъ жизни деревенской и повѣсти изъ нашего простонароднаго быта. Съ того времени, какъ писатели наши измѣнили возвышенный строй своей лиры и ниспустились съ горныхъ вершинъ, съ тѣхъ поръ мы начали встрѣчать мало-по-малу и описаніе нашей природы. Въ неподдѣльную картину этой природы вошла и неподдѣльная картина жизни деревенской, людей, которые преимущественно живутъ посреди природы. Когда въ описаніи начали играть роль не Филемонъ, а Глѣбъ Савиновъ, или дѣдушка Кондратій, не Бавкида, а тетушка Анна, тогда для насъ сдѣлались недостаточны всѣ общія мѣста: жаворонки, которые выются утромъ надъ пахаремъ, во время его работы; густая зелень листьевъ, которая даетъ прохладу въ жаркій полдень, и румяный закатъ солнца, который золотитъ воду и хижину усталого рыбака. Для русскихъ крестьянъ сдѣлалась необходима обстановка чисто русская, и, такимъ образомъ, мы начали изучать свою природу только тогда, когда обратились къ жизни народной, простой. Описанія природы начали насъ занимать, потому что посреди этой природы идетъ своимъ чередомъ жизнь, которая насъ интересуетъ.

Такимъ образомъ, мы возвратились къ роману Григоровича, который происходитъ на берегахъ Оки, такъ прекрасно описанной авторомъ „Рыбаковъ“. Мы начали съ конца, съ заключенія, съ описанія природы, посреди которой происходитъ романъ; обратимся теперь къ ходу дѣйствія.

Хотя романъ Григоровича и въ четырехъ частяхъ, но дѣйствіе въ немъ собственно немного. Рыбакъ, у котораго трое сыновей, беретъ къ себѣ въ домъ пріемыша. Онъ разсчитываетъ, что все-таки работникомъ въ домѣ больше, а на случай, если придется отбывать рекрутскую повинность — и рекрутъ подрастетъ къ тому времени. На другомъ берегу Оки, противъ избы Глѣба Савинова, живетъ еще рыбакъ, старикъ Кондратій съ молоденькой дочкой Дуней. Въ Дуню влюбляются — влюбляются сильно, страстно — сынъ рыбака Глѣба, Ваня, и пріемышъ Гриша. Дуня съ своей стороны влюбляется только въ пріемыша. А между тѣмъ, старики-рыбаки, какъ бы условясь между собою, смекаютъ, что не худо бы имъ сына своего, Ваню, женить на Дунѣ. Въ это время Ваня подслушиваетъ разговоръ пріемыша съ Дуней и узнаетъ, что эти счастливыцы взаимно любятъ другъ друга. Ваня покорень своей несчастной звѣздѣ.

„Слишкомъ знакомый голосъ (Дуни) прозвучалъ въ ушахъ Вани, и вслѣдъ за тѣмъ что-то бѣлое быстро промелькнуло передъ его глазами. Въ то же время Гришка остановился противъ него и загородилъ ему дорогу. Ваня отодвинулся въ сторону и продолжалъ слѣдить за бѣлымъ пятномъ, которое исчезло въ темнотѣ.

„— Чего тебѣ надѣть?! удушливымъ голосомъ произнесъ Гришка, становясь снова передъ товарищемъ и такъ близко наклоняясь къ его лицу, что тотъ почувствовалъ теплоту его прерывающагося дыханія.

„Ваня слегка отслонилъ его рукою и, не повернувъ даже головы, продолжалъ смотрѣть въ ту сторону, куда скрылось бѣлое пятно.

„— Чего тебѣ надѣть?! яростно повторилъ Гришка, приподымая въ замѣшательствѣ кулаки и скрежеща зубами.

„Ваня повернулъ тогда къ нему лицо свое, отступилъ шагъ назадъ и сказалъ спокойнымъ голосомъ, въ которомъ замѣтно было, однакожь, легкое колебаніе:

„— Полно, братъ, чего ты бѣснуешься? Я, вѣдь, давно все знаю; таиться вамъ отъ меня нечего. Богъ съ вами, я вамъ не помѣха.

„— Какая? въ чемъ помѣха? проговорилъ Гришка сраженный, повидимому, спокойствіемъ своего противника.

„ — Перестань, братецъ! кого ты здѣсь морочишь? продолжалъ Ваня, скрестивъ на груди руки и покачивая головой. Самъ знаешь, про что говорю. Я для этого болѣе и пришелъ, хотѣлъ сказать вамъ: Господь, молъ, съ вами; я вамъ не помѣха! А насчетъ т.-е. злобы либо зависти какой, я ни на нее, ни на тебя никакой злобы не имѣю: живите только по закону, какъ Богомъ приказано...

„ — Ой ли? насмѣшливо перебилъ Гришка.

„ Ваня отступилъ нѣсколько шаговъ и потупилъ голову.

„ — Господь тебѣ судья, когда такъ! сказалъ онъ твердымъ, хотя грустнымъ голосомъ.

„ Затѣмъ онъ медленно повернулся къ рѣкѣ и пошелъ къ челноку“.

Но старики-отцы не знаютъ ничего о такомъ благородномъ самоотверженіи Вани, и Глѣбъ Савиновъ, выбравъ удобную минуту, беретъ съ собою Ваню и идетъ къ дѣдушкѣ Кондратію сватать сына. Старикъ радъ-радехонекъ, что дочка его идетъ въ хорошій домъ, но Дуня поблѣднѣла, а Ваня поникъ головой. Говорить своимъ отцамъ они не смѣютъ про душевныя тайны, а старики дивятся, что это дѣти ихъ не радуются такому счастью и повѣсили головы. Старики, уладивъ дѣло, между собою калякутъ о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, и въ это время Глѣбъ мимоходомъ общается Кондратію, что скоро наборъ и что Гришка, приемышъ, пойдетъ въ солдаты. Въ то же время лицо Дуни, которая стояла у двери, покрылось зеленоватою блѣдностью и стало недвижно. Раскрывъ поблѣднѣвшія губы, вытянувъ шею, она смотрѣла сухими глазами, полными безумнаго замѣшательства, въ уголъ, гдѣ сидѣли старики. Секунду спустя, глаза ея помутились, грудь ея поднялась, губы и ноздри задрожали. „Все существо ея (говорить Григоровичъ) превратилось, казалось, въ одинъ отчаянный вопль“. Дуня, однакожъ, заглушила рыданія и быстро скользнула въ дверь.

„ На этотъ разъ Ваня мало ужъ заботился о томъ, что говорилъ отецъ. Онъ думалъ свою думу, — повидимому, крѣпкую, горькую думу. Сношенія Дуни съ приемышемъ давно были ему извѣстны; отчаяніе, обнаруженное ею, ничего, слѣдовательно, не раскрыло ему новаго; какъ ни горько было ему отказаться отъ рыбаковой дочки, онъ успѣлъ, одна-
кожъ, давно свыкнуться съ своей долей. Воля отца, рѣ-

шившагося отправить Гришку, вѣсть объ удаленіи его со всѣми послѣдствіями для рыбаковой дочки, — можетъ стать, даже для пріемыша, — вотъ что возмущало душу молодого парня. Нѣтъ никакой возможности вѣрно передать внутреннія движенія человѣка въ минуты сильной тревоги: въ эти минуты человѣкъ, говоря относительно, перестрадаетъ и переживаетъ болѣе, чѣмъ въ цѣлыя годы тихаго, невозмутимаго существованія. Скорбь парня постепенно, казалось, сосредоточивалась и уходила въ его душу. Молодое лицо его, встревоженное горемъ, мало-по-малу дѣлалось покойнѣе; но, подобно озеру, утихающему послѣ осенней бури, лицо Вани освѣщалось печальнымъ, холоднымъ свѣтомъ; молодые черты его точно закалялись подъ вліяніемъ какой-то непреклонной рѣшимости, которая съ каждой секундой все болѣе и болѣе созрѣвала въ глубинѣ души его. Такъ сильно отдался онъ подъ конецъ своимъ мыслямъ, что казалось, не замѣтилъ даже дочки рыбака, которая успѣла ужъ вернуться въ избу, стояла у двери и смотрѣла на него распухшими отъ слезъ глазами“.

Когда старики-отцы вышли изъ избы, Ваня подошелъ къ Дунѣ и сказалъ слѣдующія торжественныя слова:

„— Дуня, не сокрушайся... полно! не будетъ этого!... Я... я... говорилъ вамъ (тутъ голосъ его какъ будто слегка задрожалъ)... я говорилъ вамъ: я вамъ не помѣха!.. Полно, не плачь... я ослобожу его!

„Сказавъ это, онъ провелъ пальцами по глазамъ и отвернулъ голову. Минуту спустя, Ваня выходилъ изъ лачуги“.

Когда старый рыбакъ съ сыномъ воротился домой, они нашли въ избѣ сотскаго, который пріѣхалъ повѣстить о выдачѣ рекрута. На другой день, утромъ, разсердили стараго рыбака старшіе сыновья, которые просились на заработки въ рыбацкія слободы. Въ это утро Глѣбъ Савиновъ былъ мраченъ и грозенъ, какъ туча; все въ домѣ трепетало отъ одного его взгляда. Старикъ давно собирался проучить старшихъ своихъ сыновей, которые начинали попивать и пошаливать, какъ говорилъ онъ. Случай ему представился, когда сыновья эти начали проситься въ рыбацкія слободы. Вотъ какъ описываетъ авторъ Глѣба во время размовки съ дѣтьми.

„Глѣбъ былъ въ самомъ дѣлѣ страшенъ въ эту минуту: сѣрые, сухіе вудри его ходили на макушкѣ, какъ будто ихъ

раздувалъ вѣтеръ; зрачки его сверкали въ налитыхъ кровью бѣлкахъ; ноздри и побѣлѣвшія губы судорожно вздрагивали; высокій лобъ и щеки старика были покрыты блѣдно-зелеными полосами; грудь его колыхалась изъ-подъ рубашки, какъ взволнованная рѣка, разбивающая вѣшній ледъ. Ступеньки крылечка затряслись подъ его тяжелыми шагами. Очувшись на дворѣ, онъ остановился, какъ бы для того, чтобы перевести дыханіе, и вдругъ быстро повернулся къ двери крыльца, торжественно приподнялъ обѣ руки и произнесъ задыхающимся голосомъ:

„ — Не будетъ вамъ, непослушники, отцовскаго моего благослов... Но тутъ онъ остановился; голосъ его какъ словно оборвался на послѣднемъ словѣ, и только сверкающіе глаза, все еще устремленные на дверь, силились, казалось, досказать то, чего не рѣшался выговорить языкъ. Онъ опустил сжатые кулаки, отступилъ шагъ назадъ, быстрымъ взглядомъ окинулъ дворъ, снова остановилъ глаза на двери крыльца и вдругъ вышелъ за ворота, какъ будто воздухъ тѣснаго двора мѣшалъ ему дышать свободно“.

Когда Глѣбъ вышелъ за ворота, младшій сынъ Ваня подошелъ къ отцу и объявилъ ему, что намѣренъ идти въ рекруты за приемыша.

Вслушавъ это, Глѣбъ Савиновъ вспыхнулъ. Онъ началъ осыпая сына упреками, припоминалъ его дѣтство, грозилъ ему — ничто не помогало.

„ — Ваня! воскликнулъ старикъ, все еще не потерявшій надежды убѣдить сына: — Ваня! вспомни! тебя ли не любилъ? тебя ли не отличалъ я?... Съ измалѣтства отличалъ я тебя отъ твоихъ братьевъ! Ты былъ моимъ любимцемъ, ненагляднымъ сыномъ моимъ! Ты моя надежда! И ты хочешь покинуть меня своею охотой, — на старости лѣтъ покинуть хочешь! старуху свою, мать, покинуть хочешь!... Ваня, вспомни... или ты не знаешь?... вѣдь и братья твои насъ покидаютъ... Чтò жъ, также сиротами хочешь ты стариковъ оставить?... Опомнись! Чтò ты дѣлаешь?... Ваня!...“

Ваня остается при своемъ, и тогда отецъ продолжаетъ:

„ — Ну, послушай... вотъ... вотъ, что я скажу тебѣ: кинемъ жребій, Ваня!... ну, такъ, хочешь для виду кинемъ!... кому выпадетъ, пуцай хоть тотъ знаетъ, по крайности, пуцай знаетъ... что ты за него пошелъ...“

Сынъ и на это не согласился. Глѣбъ закрылъ лицо руками, сдѣлалъ безнадежный жестъ и безотраднымъ взглядомъ окинулъ Оку. Увидѣвъ старуху-жену, онъ закричалъ ей, махая руками:

„— Ступай сюда! ступай, старуха.

„Старушка, ковыляя, подошла къ мужу и сыну.

„— Вотъ,— сказала Глѣбъ, уже разбитымъ голосомъ: — вотъ послушай его, коли сердце твое крѣпко...

„Испуганная мать бросилась къ сыну. Тотъ опустилъ голову и молчалъ. Глѣбъ въ короткихъ, отрывистыхъ словахъ, передалъ женѣ намѣреніе Вани.

„— Батюшка! закричала старуха: — батюшка, помилуй!

„И, какъ безумная, повалилась мужу въ ноги.

„— Проси его! проговорилъ Глѣбъ, захлебываясь отъ слезъ, хотя глаза его были сухи: — его проси, старуха! заключилъ онъ, указывая на Ваню.

„— Ваня!... батюшка!... помилуй! прокричала мать, бросаясь сыну въ ноги.

„— Но Ваня не отвѣчалъ: онъ поддерживалъ только мать и рыдалъ навзрыдъ, обливая ее лицо слезами.

„Тутъ ужъ и самого старика слеза прошибла; онъ медленно подошелъ къ женѣ, положилъ ей широкую ладонь свою на голову и произнесъ прерывающимся голосомъ:

„— Терпи, старая голова, въ кости скована! При этомъ онъ провелъ ладонью по глазамъ своимъ, трахнулъ мокрыми пальцами по воздуху и, сказавъ: „Будь воля Божія!“ пошелъ быстрыми шагами по берегу, все дальше.

Также хороша и слѣдующая затѣмъ глава: „Проводы“ сына въ дорогу. Когда Ваня ушелъ, старого Глѣба какъ будто ничто не занимало.

„Во всю остальную часть дня, въ обѣдъ, въ ужинъ, старый рыбакъ ни разу не показался въ избѣ. Отсутствіе его замѣтила подъ конецъ и тетушка Анна. Старушка отправилась отыскивать мужа. Безпокойство еще пуще овладѣло ею, когда, обойдя клѣтушки и навѣсы, она не нашла Глѣба. Наконецъ, послѣ долгихъ розысковъ, увидѣла она его лежащаго навзничъ на грудѣ старыхъ вершей, въ самомъ темномъ, отдаленномъ углу двора. Голова старого рыбака и верхняя часть его туловища были плотно укутаны полубкомъ. Онъ не спалъ, однакожъ. Старушка явственно

разслышала тяжелые вздохи, сопровождаемые именами Петра, Василия и Вани. Анна вернулась къ избѣ, сѣла на крылечко и снова заплакала. Такъ провела она всю ночь. На зарѣ она снова подошла къ мужу. Глѣбъ лежалъ неподвижно на своихъ вершахъ. Глухіе, затаенные вздохи, сопровождаемые именами сыновей, по прежнему раздавались подъ полушубкомъ. Весь этотъ день прошелъ точно такъ же, какъ вчерашній: Глѣбъ не показывался въ избѣ, не пилъ, не ѣлъ и продолжалъ лежать на своихъ вершахъ. Тоска смертельная овладѣла тогда старушкой. Когда она увидѣла, что и на третій день точно такъ же не было никакой переменъ съ мужемъ, безпокойство ея превратилось въ испугъ: и безъ того ужъ такъ пусто было въ домѣ, такъ печально глядѣли наѣсы!“

Однакожь, въ этотъ день, когда она медленно шла къ избамъ, она примехонько наткнулась на Глѣба; Глѣбъ всталъ съ вершей.

„Мужественное лицо стараго рыбака было красно-багроваго цвѣта, какъ будто онъ только что вышелъ изъ бани, гдѣ парился черезъ мѣру. Черты его исчезали посреди опухлости, которая особенно рѣзко проступала вокругъ глазъ, отгнѣваемыхъ мрачно-нависнувшими бровями. Старушка замѣтила съ удивленіемъ, что въ эти три дня мужъ ея посѣдѣлъ совершенно.

„Горе старушки уступило на минуту мѣсто безпокойству, которое пробудила въ ней наружность мужа.

„— Батюшка! Христось съ тобою! На тебѣ, вѣдь, лица касатикъ, нѣту! воскликнула она, опуская руки: — вотъ почитай третьи сутки не пилъ, не ѣлъ ничегохонько! Что мудренаго! Ужъ не хвороба ли какая заѣла тебя? Помилуй Богъ! продолжала она, между тѣмъ, какъ мужъ мрачно глядѣлъ въ совершенно противоположную сторону: — ты бы на себя-то поглядѣлъ: весь распухъ, лицо красное, красное... должно быть, кровь добре привалила... О-охъ, ты, батюшка, до грѣха, сходилъ бы въ Сосновку — кровь кинулъ... все бы маленько поотлегло... сходи-ка съ Богомъ... право-ну!

„Глѣбъ провелъ ладонью по лицу, разгладилъ морщины и повернулъ голову къ женѣ.

„— Вотъ что, старуха, — произнесъ онъ твердымъ голосомъ и, повидимому, не обращая вниманія на предшество-

вавшия слова жены: — нонче въ Комаревѣ ярмарка. Схожу — не навернется ли работникъ: безъ него нельзя. Погоревали, поплакали довольно, пора и за дѣло приниматься. Остаешься теперь одна въ дому: пособить некому... не до слезъ теперь. Одна за все, про все... Поплакала, погоревала, ну и довольно“.

Эти сцены прощанья, проводовъ и гореванья оставшихся стариковъ принадлежать, по нашему мнѣнiю, къ лучшимъ страницамъ, какія когда-либо написалъ Григоровичъ. Глѣбъ на этотъ разъ покинулъ свою излишнюю твердость, и его просьбы къ любимому сыну остаться дома, или, по крайней мѣрѣ, кинуть жребій кому итти въ рекруты; его трехдневное лежанье на вершахъ послѣ проводовъ сына — есть верхъ правды, подмѣченной Григоровичемъ. Слезы навертываются на глаза, когда читаешь эти прекрасныя, съ неподдѣльнымъ чувствомъ написанныя страницы.

Прощаньемъ этимъ въ началѣ третьей части, собственно кончается романъ. Приемышъ женится на Дунѣ; и когда старикъ Глѣбъ умираетъ, Гришка знакомится съ фабричными, которые его спаиваютъ и научаютъ всему дурному. Онъ проматываетъ состоянiе, нажитое долгими трудами Глѣба, начинаетъ воровать и однажды попадаетъ въ кражѣ. Уходя отъ сыщиковъ, онъ бросается въ Оку и тонетъ. Дуня съ маленькимъ ребенкомъ остается сиротой. Черезъ пятнадцать лѣтъ на родину возвращается какой-то безсрочно-отпускной солдатъ и отыскиваетъ Дуню. Это — рыбакъ Ваня, выслужившій свой срокъ.

Вотъ общій ходъ романа, его завязка и развязка. Она дала поводъ къ двумъ-тремъ прекрасно написаннымъ сценамъ, которыя мы привели выше. Все остальное въ романѣ посвящено описанiю жизни рыбаковъ, жизни фабричной, а отчасти крестьянской, гдѣ мы также встрѣтили много прекрасныхъ страницъ, написанныхъ съ чувствомъ.

Любуясь нашими земледѣльческими деревнями, гдѣ найдете „вы ту простую, безхитростную жизнь, тотъ здравый житейскій смыслъ, который заключается въ безусловной покорности и полномъ примиренiи съ скромной долей, опредѣленной Провидѣнiемъ“, авторъ сравниваетъ съ ними фабричныя деревни, въ которыхъ почти нѣтъ семейной жизни, и гдѣ нравы утрачиваютъ свою простоту. Сравненiе это само собою сдѣлано

авторомъ въ пользу земледѣльческихъ деревень, въ которыхъ „семейная жизнь служитъ залогомъ истиннаго счастья“.

Это такъ, но Захаръ, — олицетворенная фабричная дѣятельность, со всѣми ея недостатками, не совсѣмъ удался автору и гораздо лучше онъ выражаетъ мысль автора, нежели представляетъ живое лицо. Это не ложное лицо, это какой-то агрегатъ всего дурного, въ контрастъ Глѣбу Савинову, въ которомъ очень много хорошаго, особенно много домовитости. Какъ всякое лицо, въ которое хотятъ вмѣстить слишкомъ широкую идею, отзывается больше книгою, нежели жизнью, такъ и Захаръ, часто говоритъ и дѣйствуетъ, какъ старинный зломысль. Дядюшка Акимъ, которому авторъ не далъ никакого особеннаго назначенія и призванія, кромѣ, развѣ, исключительнаго права дѣлать скворечницы, вышелъ полнѣе, хотя онъ и самое ничтожное лицо въ романѣ.

Точно такъ же можно сдѣлать автору еще нѣсколько замѣчаній, которыя, не уменьшая собственно художественнаго достоинства романа, поражаютъ какъ-то непріятно при чтеніи, какъ промахи, на которые авторъ не обратилъ вниманія отъ поспѣшной работы.

Но совсѣмъ тѣмъ мы отдаемъ полную справедливость такимъ поэтическимъ описаніямъ, какъ мы привели въ началѣ этой статьи; отдаемъ справедливость Григоровичу за то, что онъ избранный имъ въ романѣ міръ описываетъ съ любовью, хотя этотъ міръ не нуждался бы въ идеализаціи для того, чтобы быть интереснымъ для каждаго образованнаго чело-вѣка. Мы хотимъ, чтобы изображаемый бытъ былъ жизнью дѣйствительно существующею, а не мерцалъ въ воображеніи автора. Отъ этого мы нашли, что Глѣбъ Савиновъ безъ надобности суровъ и какъ-то фальшиво величавъ, безпрестанно потирая свой высокій лобъ широкою ладонью. Это не значить, чтобы весь характеръ Глѣба Савинова мы находили фальшивымъ — нѣтъ; въ немъ нѣсколько переложено красокъ при исполненіи, а задуманъ онъ совершенно вѣрно. Домовитость, строгость, упрямство характера, скуповатость для пользы своего же дома — все это черты такія общія и всѣмъ знакомыя, что противъ нихъ и говорить нечего.

Изъ „Отеч. Записокъ“ 1853.

Общее содержаніе и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ „Переселенцахъ“.

Доброе, очень милое и образованное семейство помѣщика Бѣлицына, промотавшись немного въ столицѣ, пріѣхало къ себѣ въ деревню. Ни помѣщикъ ни помѣщица не знаютъ хорошенько сельской жизни, но, отчасти тронутые безконечнымъ радушіемъ и довѣрчивостью своихъ крестьянъ, отчасти смутно сознавая свои обязанности въ отношеніи къ нимъ, они съ горячностью принимаются за улучшеніе ихъ быта. Главнѣйшимъ образомъ вниманіе ихъ обращено на самое бѣдное и печальное семейство въ цѣлой деревнѣ — на семейство мужика Лапши. Бѣлицынъ, добрякъ, отъ румянаго и добродушнаго лица котораго не хочется оторваться, начинаетъ суетиться, дѣлать различные хозяйственные проекты, по цѣлымъ днямъ не выпускаетъ изъ своего дѣловаго кабинета управителя Герасима, но, какъ слѣдуетъ ожидать, все у него выходитъ незрѣло, суетливо, онъ кидается на первую попавшуюся ему на глаза частность и упускаетъ изъ виду главное. Жена его пока тоже мало знаетъ толку въ хозяйствѣ, но съ самоотверженіемъ вступаетъ въ разговоры съ коровницею; даже француженка-гувернантка, увлеченная общимъ потокомъ, даритъ свои ботинки крестьянской дѣвушкѣ, въ полномъ убѣжденіи, что это для нея очень отличная обувь. Крошечная Мери, дочка помѣщицы, раскрываетъ красивенькую бонбоньерку съ конфетами и очень наивно и нежеманно предлагаетъ ихъ запачканнымъ ребятишкамъ мужика Лапши, которые не выпускаютъ изъ рукъ юбки матери и, при такомъ неожиданномъ предложеніи, стремительно и съ испугомъ укрываются за отцовскую спину.

Словомъ, и помѣщикъ, и молоденькая свѣтская помѣщица, и гувернантка, и маленькая Мери — рѣшительно въ восхищеніи, что пріѣхали въ деревню.

Въ одну изъ самыхъ горячихъ минутъ проектированія по части хозяйственныхъ преобразованій, Бѣлицыну пришла мысль о саратовскомъ лугѣ, который около десяти лѣтъ не приносилъ ему рѣшительно никакихъ доходовъ, и которымъ завладѣла мелко-помѣстная саратовская помѣщица. Планъ его расширился: его восхитила мысль о переселеніи на са-

ратовскій лугъ семейства Лапши, объ устройствѣ тамъ колодезя, мазанки, о собраніи доходовъ съ гуртовщиковъ, и т. д. Позвали Лапшу и его жену Катерину, которые, натерпѣвшись всевозможныхъ непріятностей и наговоровъ въ родной деревнѣ, очень охотно согласились на такое переселеніе. Тотчасъ выданы имъ деньги на дорогу, написано объяснительное письмо госпожѣ Ивановой, самовольно завладѣвшей лугомъ Бѣлицыныхъ, и переселенцы, напутствуемые искренними благословеніями добрыхъ помѣщиковъ, завистью сосѣдокъ и сосѣдовъ мужиковъ, тронулись въ путь, въ Саратовскую губернію.

Тутъ семейство помѣщика, снова отправившееся въ Петербургъ, отходить на задній планъ романа, и авторъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на переселенцахъ.

Вотъ внѣшній узелъ романа. Читатель скоро забываетъ о Бѣлицыныхъ и весь погружается въ радости и огорченія, въ труды, заботу и тревогу простой обыденной жизни семейства Лапши. Авторъ такъ обстоятельно, толково и художественно вмѣстѣ рисуетъ эту сельскую жизнь, что читатель сочувствуетъ ей, живетъ вмѣстѣ съ переселенцами и, увлеченный интересомъ разнообразныхъ картинъ, дружно и незамѣтно идетъ объ руку съ этими простыми героями до послѣдней страницы романа.

Излагать во всей подробности сюжетъ „Переселенцевъ“ считаемъ лишнимъ. Мы обратимъ вниманіе только на главное: на характеры дѣйствующихъ лицъ, на сцены, замѣчательныя въ томъ или другомъ отношеніи, на торжество, удачу и неудачу автора. Это будетъ интереснѣе и, главное, болѣе относится къ сущности нашего дѣла.

Характеры, рельефнѣе другихъ выдающіеся въ романѣ: переселенецъ Лапша, жена его Катерина и нищій Фуфаявъ, не говоря уже о нѣкоторыхъ эпизодическихъ лицахъ слегка, но мастерски очерченныхъ.

Лапша отчасти сродни дядѣ Акимъ, въ „Рыбакахъ“, но совершенно въ другомъ родѣ. Онъ преоригинальное лицо: деревенскій трутень, такъ же какъ и Акимъ, но трусливый и робкій, ничего не дѣлающій, вѣчно охающій и ахающій, желающій показать, но совершенно безуспѣшно, что онъ дескать, хоть и одержимъ тяжкими болѣзнями, но что онъ голова всего, а баба его Катерина не болѣе не менѣе, какъ

пустынная и вздорная баба. А ужъ какъ трусливъ и что за размазня-человѣкъ этотъ Лапша. При первой маленькой неудачѣ, онъ теряется до основанія, безнадежно заваливается на печку, стонетъ такъ жалостливо и томно, что вчужѣ дѣлается жаль человѣка. „Эхъ — подумаешь — убили совершенно обстоятельства бѣднаго горемыку!“ Ничего не бывало: Лапшѣ до обстоятельствъ и дѣла нѣтъ, онъ всѣ заботы взваливаетъ на жену, ему и нуждушки нѣтъ, какъ бы поспособить стѣснительному положенію своего семейства, онъ вряхтитъ себѣ да стонетъ, стонетъ да вряхтитъ, словно этимъ облегчаетъ домашнее горе, словно вряхтеньемъ поправляетъ расстроенныя обстоятельства. И какія непріятности встрѣчаются съ этимъ запечнымъ страдальцемъ: отправится онъ изъ избы въ ригу, чтобъ всхрапнуть маленько подъ предлогомъ болѣзни. Чтожъ, кажется, хорошо задумано, но и тутъ постигаютъ его удары судьбы. Украдкой, тишкомъ и ползкомъ, въ ригу является родной его братъ, бродяга Филиппъ, много напакостившій въ деревнѣ и давно бѣжавшій, — онъ начинаетъ давить и стращать Лапшу, угрожаетъ ему поджогомъ — краснымъ пѣтухомъ — и требуетъ денегъ. Лапша жалокъ въ эту минуту, а отъявленный воръ и мошенникъ Филиппъ такъ ловко и самостоятельно обращается съ нимъ, что тотчасъ видно, что Лапша боится его до смерти, что Филиппъ не въ первый разъ дѣлаетъ подобное посѣщеніе.

Лапша до такой степени разслабленъ нравственно и физически, такъ жалокъ, что встрѣтившись, однажды, съ мужикомъ Карпомъ и кузнецомъ Пантелеемъ, онъ совершенно раскисъ и растерялся. Причина-то была растеряться: онъ былъ долженъ Карпу, потребовавшему у него возвращеніе долга; но дѣло въ томъ, что когда и кузнецъ и Карпъ начали его бранить, называть мошенникомъ и укорять братомъ Филиппомъ, съ которымъ онъ будто бы дѣйствуетъ за-одно, — Лапша скорчилъ жалкую мину и безнадежно распласталъ руки, такъ что даже маленький сынишка его не выдержалъ и своимъ дѣтскимъ голосомъ закричалъ:

— Анъ нѣтъ, не мошенникъ! не мошенникъ! подхватилъ мальчижъ, выставляя впередъ кудрявую свою голову.

— Ты что, щенокъ? — заговорилъ кузнецъ.

— Анъ нѣтъ, не щенокъ!.. Сами ребята твои щенки... а дядя Василій не мошенникъ! — сказалъ мальчижъ.

— Молчи! пришибу!

— Не смѣешь! — сказалъ мальчикъ съ такимъ смѣлымъ видомъ; какого отецъ во всю жизнь свою не посмѣлъ выказать“.

Вообще лицо Лапши представлено Григоровичемъ мастерски. Несмотря на свою оригинальность, лицо это очень естественно: любая деревня имѣетъ своего Лапшу.

Другой, еще болѣе замѣчательный типъ въ „Переселенцахъ“ — типъ истинно — дѣловой русской крестьянки — представленъ въ лицѣ Катерины, жены Лапши. Съ перваго разу она непріятно обдастъ васъ своимъ холоднымъ видомъ; вы думаете, что непрерывныя копотливыя заботы и обязанности матери многочисленной семьи сдѣлали ее только сухой, недовѣрчивой и заботливой хозяйкой. Но, познакомившись съ нею ближе, вы тотчасъ увидите, что ваше предположеніе ошибочно: она добра, не криклива и не заносчива, какъ большая часть дѣловыхъ женщинъ, никогда не попрекаетъ своего лѣнтяя мужа, знаетъ какъ нельзя лучше настоящую ему цѣну, но не даетъ чувствовать ему на каждомъ шагу своего превосходства. Она бьется, несчастная, какъ рыба объ ледъ, все дѣлаетъ, обо всѣхъ заботится и не жалуется сосѣдкамъ на свои заботы и домашніе недостатки, жалѣетъ и щадитъ возмутительнаго лѣнивца Лапшу, горячо и крѣпко любитъ свое семейство. Это прекрасное лицо, энергическое, простое, не сознающее вполнѣ своего достоинства, характерное и мягкое — одно изъ знаменитыхъ лицъ Григоровича, которымъ онъ можетъ смѣло гордиться. Попытки создать подобное лицо встрѣчались у многихъ писателей престопаго быта, они были отчасти и у самого Григоровича въ прежнихъ его произведеніяхъ, но всѣ эти попытки оставались только попытками. Дѣло въ томъ, что подобное лицо всегда выходило точно выколоченное изъ стали, накаленной до красна, всѣ другія стороны были приколочены и забиты слишкомъ усерднымъ художественнымъ молоткомъ, такъ что подобное лицо, вмѣсто истинной характеристики, обыкновенно торчало какимъ-то напряженнымъ литературнымъ коломъ. Между тѣмъ, посмотрите, какіе естественные переливы въ энергическомъ характерѣ Катерины: какъ она слаба, безразсудна во время пропажи своего Петруши, похищеннаго нищими, какъ она, практическая жен-

щина, рыдаетъ и кружится вокругъ кустовъ, какъ будто ея двѣнадцатилѣтній Петруша крошечная безсловесная щепка, которую легко можно было припрятать подъ кусты. Посмотрите, какъ эта Катерина, стѣсненная обстоятельствами, въ своей лачужкѣ — мазанкѣ, караулитъ саратовскій лугъ, безнадежно поджидая гуртовщиковъ со стадами; какъ она, въ тоже время, безъ устали спѣшитъ приставить дюжины полторы запласть въ коротайкѣ, которую, отдавъ починить ей, за ничтожное вознагражденіе, одинъ изъ мужичковъ сосѣдней деревушки. Лохмотья, предназначенныя для запласть и лохмотья самой коротайки, лежатъ на ея колѣняхъ; съ правой руки ея, на старомъ тулупчикѣ, валяется послѣдній ея маленькій ребенокъ; слѣва, между моткомъ нитокъ и ножницами, виднѣется ломоть хлѣба, къ которому время отъ времени, прибѣгаетъ она. Три старшихъ ея мальчугана шумно и весело кричатъ, прыгая съ ломтемъ хлѣба въ рукахъ и поглядывая на волчка, который виляетъ своимъ хвостомъ и устремляетъ какой-то страстно — нетерпѣливый взглядъ на каждаго мальчугана, когда который-нибудь изъ нихъ подноситъ хлѣбъ къ губамъ. Уперевъ угловатые локти въ костлявыя колѣни; положивъ голову между ладонями, Лапша глядитъ съ видомъ тоски и изнеможенія въ степь, которая разстилается передъ его глазами... О чемъ думаетъ Лапша — этого онъ вѣрно и самъ не можетъ растолковать; но все равно, каковъ бы ни былъ ходъ его мыслей, онъ поминутно прерывается тяжелымъ кашлемъ. Опять новая забота для бѣдной женщины; хотя мужъ не былъ для нея надежнымъ помощникомъ, но она ясно видитъ, что это не то, когда Лапша, бывало, притворно покашливалъ себѣ днемъ, а ночью спалъ какъ убитый, — нѣтъ, теперь онъ дѣйствительно, подался замѣтно, и хворость его прибавляетъ ей лишнюю заботу. А заботъ-то у ней, неудачъ и безъ того много...

Отношенія Катерины къ семейству и мужу обрисованы удивительно: она щадитъ этого несчастнаго трутня, несмотря на то, что онъ былъ причиною потери бѣднаго Петруши, любимаго ея сына. И какъ отличался при этомъ Лапша, какъ онъ сразу провалился, желая сдѣлать практическое дѣло!.. Вотъ какъ это было: однажды вечеромъ постучались нищіе; Катерина подала имъ корку хлѣба, но они стали

проситься позволить имъ переночевать, предлагая за это по копейки съ человѣка:

„ — Гдѣ тутъ съ вами возиться! самимъ тѣсно! — сердито возразила Катерина.

Лапша дернулъ жену за рукавъ и отвелъ ее въ сторону.

— Вотъ вѣдь ты какая! — шепнулъ онъ тономъ упрека и какъ бы подразнивая ее: — *сама ругаешься, говоришь: такой я, сякой*, а сама что дѣлаешь?.. Все черезъ тебя выходитъ... Четыре копейки даютъ — не пушаешь... Завтра бы деньги-то Карпу отдать... А все я во всемъ виноватъ... То-то же вотъ и есть! — добавилъ онъ съ выраженіемъ, которое ясно показывало, что онъ вѣрилъ въ дѣльность своихъ словъ. Катерина только плюнула и пошла убирать со стола. Но Лапша не обратилъ на это вниманія. Чтобы окончательно доказать женѣ несправедливость ея обвиненій и показать себя передъ нею дѣловымъ заботливымъ хозяиномъ, онъ направился къ окну и началъ даже торговаться съ нищими; но такъ какъ ему не уступали, и въ сущности его не столько занимала прибыль, сколько появленіе новыхъ лицъ, бесѣда съ ними и сладкая перспектива высказать имъ несправедливыя гоненія судьбы и людей, онъ тотчасъ же согласился на все, т.-е. на четыре копейки“.

Этотъ нелѣпный человѣкъ, желая сдѣлать практическое дѣло, тайкомъ отъ жены отдаетъ нищимъ своего сына въ вожаки за тринадцать рублей, полагая, что это дастъ ему возможность расплатиться съ долгами. Но нищіе разомъ смекнули съ кѣмъ имѣютъ дѣло; надули его какъ пошлаго дурака, прибили и, не заплативши ни копейки, увели парнишку. Какъ жадокъ и печаленъ въ эту минуту Лапша, нанесшій въ простотѣ сердечной самой страшный ударъ для своего семейства!..

Какъ читатель, проникнутый интересомъ повѣствованія, сердится на эту тощую фигуру, примиряется съ ними ради его немощи и нравственного безсилія, но порою съ негодованіемъ отворачивается отъ этого бездарнаго мужика...

Честь и слава Григоровичу, что онъ умѣлъ совладать съ такими трудными типами, какъ Лапша и въ особенности Катерина. Признаемся, что во всѣхъ нашихъ произведеніяхъ изъ простонароднаго быта — лица, подобнаго Катеринѣ, мы не встрѣчали. Это лицо — истинное торжество таланта Григоровича.

Что же касается до нищаго Фуфаева, принадлежащаго тоже къ крупнымъ лицамъ въ романѣ, то онъ очень удался нашему автору. Надо замѣтить, что эти нищѣ въ числѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, такъ какъ съ бродяжническою ихъ судьбою связывается судьба Петруши, сына переселенцевъ. Они чрезвычайно какъ разнообразятъ романъ, и, самыми простыми и весьма естественными своими похождениями, способствуютъ его интересу и оживленію. Нищихъ этихъ три: Верстанъ, багровый, дюжій старикъ, широкоплечій, которому, кажется, не составитъ большого труда хоть цѣлаго жеребенка взвалить къ себѣ на плечи. Онъ по деревнямъ и на ярмаркахъ прикидывается слѣпымъ, поетъ густымъ басомъ, вообще же онъ сильно плутоватый человѣкъ, способный на все тяжкое. Другой нищій называется дядя Мизгирь, слабый мямлящій старикашка, трусливый и жадный, который бережно и съ замѣтной нѣжностью обходится съ своею лѣвою ногою, гдѣ у него, за лаптемъ, хранятся скопленныя деньги. Третій нищій слѣпой и слѣпой въ буквальномъ смыслѣ, потому что первые два только прикидываются слѣпцами, — называется Фуфаевъ. Этотъ слѣпецъ преинтересная особа: онъ необыкновенно веселъ, болтливъ, насмѣшливъ и, несмотря на грязную и трудную жизнь бездомнаго скитальца, въ немъ еще уцѣлѣло кой-что человѣческое. Какъ ловко онъ подсмѣивается надъ жадностью дяди Мизгирия, какъ умѣетъ естати и добродушно кольнуть угрюмаго Верстана, какой великій мастеръ заводить новыя знакомства, подружиться со всякимъ, хорошо выпить и хорошо уснуть. Съ живымъ и съ необыкновенно подвижнымъ умомъ, онъ неистощимъ на ловкія прибаутки. Онъ скоморохъ въ душѣ, но ласковъ съ своимъ маленькимъ жожакомъ, умѣетъ подсласить и свое и чужое горе и сжился съ своею жизнью, какъ рыба съ водою. А ужъ какой мастеръ этотъ веселый слѣпецъ на пѣсни, — онъ такъ нестерпимо трещитъ своимъ возлинымъ голосомъ, такъ раскатисто и съ увлеченіемъ разливается на ярмаркахъ, что хоть кого оглушить. Смотришь-затянулъ:

„Жилъ себѣ сла-а-вентъ богатъ человѣкъ,
Пилъ, ѣлъ сладко, кормилъ хорошо.“

И тутъ же подхватить:

„Лежить Лазарь, ле-жить весь изра-а-нентъ,
Съ убожествомъ, съ немочью.“

А въ степи, за околицей, смотришь — хватить и веселенькую:

„Какъ на дружкѣ-то кафтанъ
Гармилелевъ;
Какъ на дружкѣ-то штаны
Черны-бархатны;
Какъ на дружкѣ-то чулки
Бѣлы-шелковые;
Есть смазные сапоги,
Красна оторочъ;
Есть и шляпа со перомъ
И перчатка съ серебромъ“.

Вообще хорошее и вѣрное лицо нищій Фуфаевъ; характерно и рельефно вылилось оно у Григоровича. Этотъ жалкій слѣпецъ безпеченъ, добродушно золь на языкъ, болтливъ и хитеръ въ разговорѣ, но далеко не хитеръ на дѣлѣ. Конечно, ни одинъ изъ его товарищей — нищихъ не въ состояніи, сдѣлать такого ловкаго и проникательнаго соображенія, какъ онъ, но дѣло въ томъ, что онъ плохо воспользуется этимъ, да и лѣнь возьметъ къ тому же свое.

Къ сожалѣнію, подробно распространяться о лицахъ романа Григоровича мы не можемъ. Скажемъ только, что сцены, съ нищими прекрасны. Они нисколько не уступаютъ самымъ интереснымъ сценамъ изъ житія-бытія переселенцевъ и возбуждаютъ одинаковое вниманіе. Къ числу не слабыхъ, но болѣе блѣдныхъ сценъ мы относимъ послѣднія заключительныя страницы: Бѣлицыны дорисованы какъ то наскоро. Они производятъ впечатлѣніе торопливаго и неполнаго финала, придѣланнаго къ прекрасной вступительной увертюрѣ и къ самому отчетливому выполненію всего остальнаго. Этотъ финалъ естественъ въ основаніи, но слѣдовало выполнить его гораздо послѣдовательнѣе. Финальная нота важна потому, что она существенная частица основной идеи всего цѣлаго.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о другихъ лицахъ. Въ „Переселенцахъ“ нѣкоторые второстепенныя и даже третьестепенныя лица схвачены такъ ловко и бойко, что получаютъ самую цѣльную фізіономію. Такова, напри-
мѣръ, молодцоватая мелкопомѣстная помѣщица Анисья Петровна Иванова, которая своимъ бѣлымъ коленкоровымъ чепцомъ, плотно окутывающимъ ея голову, издали, ни-дѣть-ни-

взять, наноминаетъ сѣдую голову стараго, гладко остриженного солдата. Когда она брала за хохоль своего покойнаго супруга, то покойникъ въ этихъ случаяхъ только прижимался къ стѣнѣ и на всякое новое потряхиваніе супруги приговаривалъ: „А зачѣмъ шла за сердитаго? а зачѣмъ шла за сердитаго?“ Но этой бабы-грозы боялся не одинъ только ея покойникъ: по наружности греческая Бобелина, а по внутреннимъ свойствамъ настоящая русская мелкопомѣстная вдова, она не давала никому потачки. Эта баба, — лицо впрочемъ, не новое въ нашей литературѣ — въ сердцахъ обыкновенно пѣнилась и плескалась, какъ раскупоренная бутылка съ шипучкой. Надо было видѣть, какъ она взбѣсилась на Катерину, когда послѣдняя, послѣ дальняго путешествія, явилась къ ней переговорить на счетъ саратовскаго дуга. А въ сущности, эта баба — гроза вовсе не злая и всѣми силами хлопочетъ выдать замужъ свою сироту-племянницу. Недурны также становой Соломонъ Степановичъ и писарь станового, расхаживающій по ярмаркѣ и страдающій зубною болью, которую проклиналъ не столько самъ писарь, сколько мужики, собравшіеся къ торгу. Гуртовщикъ Карякинъ, остроглазая деревенская запѣвалка, вся состоящая изъ суеты и безпокойства; Пьяшка, дѣвица Тютеева, нѣсколькими чертами охарактеризованная весьма удачно. Маленькими, мелочными событіями и лицами никогда пренебрегать не слѣдуетъ; Григоровичъ это доказалъ, какъ нельзя лучше, многими сценами и лицами въ „Переселенцахъ“. Ни въ одномъ изъ его прежнихъ романовъ не встрѣчалось столько ловкихъ и мѣткихъ сравненій, такой обильной и разнообразной наблюдательности, какъ въ „Переселенцахъ“.

Изъ „Библиотеки для чтенія“ за 1857 г.

Природа въ произведеніяхъ Григоровича.

Самый сюжетъ романа „Рыбаки“ очень не сложенъ; но сколько здѣсь прекрасныхъ картинъ природы! Всѣ четыре времени года, поскольку они отражаются въ явленіяхъ природы, находятъ здѣсь свое изображеніе; мы встрѣчаемъ

въ романѣ описаніе весны, лѣта, осени и зимы. Предъ нами проходятъ картины: наступленія весны и весенней оттепели („Рыбаки“, гл. I): весенняго водополя (гл. XII и XIII): картина весенняго дня вообще (XVII гл.), картина весенняго дня на рѣкѣ (XIV гл.), картина лѣтняго вечера (гл. IX), ненастнаго дня къ концу осени (гл. VII), картина наступленія зимы (VIII гл.) и т. д. и т. д. Масса такихъ художественныхъ описаній и въ другомъ большомъ романѣ Григоровича: „Переселенцы“. Здѣсь мы встрѣчаемъ блестящія описанія: грозы (ч. III, гл. IV), жаркаго лѣтняго полдня (ч. III, гл. II), лѣтняго утра (ч. III, гл. VII), яснаго осенняго вечера (ч. V, гл. III), звѣздной осенней ночи (ч. V, гл. VI) и др. Мелкіе рассказы Григоровича также переполнены описаніями природы высокой художественной силы. Можно сказать, что природа средней полосы Россіи въ произведеніяхъ Григоровича изображена въ высшей степени художественно. Въ этомъ изображеніи чувствуется любящая природу душа, способная понимать и цѣнить ея красоты. Замѣчательно, что въ изображеніи природы Григоровичъ не истощимъ, и его описанія и картины отличаются большимъ разнообразіемъ, особенно, если мы примемъ во вниманіе, что районъ наблюденій автора очень не широкъ. Авторъ какъ бы открываетъ все новыя и новыя красоты въ природѣ.

Особенное пристрастіе къ изображенію картинъ природы и умѣнье изобразить любую изъ нихъ, представить ее со всѣми деталями, не упустить изъ вниманія ни одной черты и всему дать надлежащій тонъ и мѣсто, несомнѣнно находится въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что Григоровичъ былъ художникомъ по своему образованію и наклонностямъ. Его описанія и представляютъ изъ себя дѣйствительныя картины природы, которыя ничего не стоитъ художнику перенести цѣликомъ на полотно. Вотъ примѣръ подобнаго рода описаній изъ его первой новѣсти: „Деревня“, посвященной изображенію народнаго быта.

„Предъ нею (предъ дѣвочкой Акулей) широко стлался зеленый лугъ; медленно и плавно расхаживали по немъ бѣлые, какъ снѣгъ, гуси; селезни и пестрыя утки, повернувъ голову подъ сізое крылышко, лежали тамъ и самъ неподвижными группами. Далѣе сверкала рѣка со своими обрывистыми берегами, обросшими лопухомъ и кустарни-

ками, изъ которыхъ мѣстами выбивались длинные сухіе стебли дикаго щавеля и торчали фіолетовыя верхушки колючаго репейника. За рѣкою виднѣлось черное, взбороненное поле; далѣе, вправо, мѣстность подымалась горою. По главнымъ ея отлогостямъ, изрѣзаннымъ промоинами и проточинами, разрастался постепенно все выше и выше сосновый лѣсокъ; мѣстами рыжее высохшее дерево, вырванное съ корнемъ весеннею водою, перекидывалось висачимъ мостомъ. Влѣво тянулось пространное болото, камышъ, кочки, и черныя кустарники покрывали его на всемъ протяженіи“ и т. д.¹⁾

По этому образцу можно судить вообще о манерѣ Григоровича въ изображеніи картинъ природы, хорошихъ и слабыхъ сторонахъ его художественныхъ описаній. Предъ читателемъ развертывается ландшафтъ, обрисованный со всею добросовѣстностью внимательнаго наблюдателя. Это въ полномъ смыслѣ картина съ натуры, даже, вѣрнѣе сказать, фотографія: такъ и чувствуется, что авторъ скопировалъ эту картину съ натуры, во всей ея неприкосновенности. Автора за нарисованной картиной читателю не видно; это описаніе въ высшей степени объективное. Объективность характерная черта отношенія автора къ изображаемой природѣ. Въ результатъ такого отношенія являются блестящія картины природы; но, такъ сказать, — не преломленныя въ субъективномъ, внутреннемъ я писателя и потому не дающія читателю настроенія: такія описанія могутъ удивлять своей правдою, соответствіемъ дѣйствительности, но мало задѣваютъ чувство читателя. Подобное изображеніе картинъ природы приближается къ перечисленію деталей къ тщательному перечню отдѣльныхъ явленій и подробностей. Отъ нихъ отзывается холодомъ, потому что за ними не чувствуется страдающей или наслаждающейся жизнью человѣческой личности, которая переноситъ на природу свои настроенія, надѣляетъ ее человѣческими свойствами и, одухотворивши ее, дѣлаетъ участницей своей собственной жизни. Такія объективныя описанія природы, какія мы видимъ у Григоровича, производятъ большее впечатлѣніе, взятыя отдѣльно, помѣщенныя въ хрестоматіяхъ; но въ цѣль-

¹⁾ Т. 1, 93—94 стр.

номъ произведеніи они стоятъ особнякомъ, они органически не связаны съ ходомъ дѣйствія, съ развертывающеюся въ произведеніи человѣческой жизнью и потому, несмотря на всю ихъ художественность, могутъ служить помѣхой читателю, слѣдующему за развитіемъ дѣйствія въ романѣ; они затягиваютъ это развитіе, не находя ни въ чемъ достаточнаго оправданія себѣ, кромѣ склонности автора къ ихъ изображанію. Таково большинство описаній картинъ природы автора.

Но встрѣчаются и у него страницы, гдѣ онъ какъ бы оставляетъ свою обычную манеру и одушевляетъ нарисованныя картины образами, взятыми изъ человѣческой жизни, сближаетъ жизнь природы съ жизнью человѣка и заставляетъ природу сочувствовать послѣднему. Получаются сильныя изображенія природы, уже тѣсно связанныя съ развивающеюся предъ читателемъ человѣческою жизнью и вмѣстѣ создающія настроеніе въ читателѣ.

Такова, напримѣръ, картина поздней осени и наступленія зимы въ VIII гл. романа: „Рыбаки“. „Уныло воетъ вѣтеръ въ дождливую, холодную осень. Прислушайтесь: слышите, съ какимъ суетливымъ беспокойствомъ шаритъ онъ вокругъ каждого кусточка и стебля, какъ будто отыскивая тамъ что-то забытое или утраченное. Онъ заглядываетъ въ каждое дупло, въ каждую скважину; поднимаетъ каждый поблѣвшій листокъ, каждую травку и, какъ путникъ, вернувшійся на родину, который, вмѣсто уютнаго крова, находитъ всюду одну глухую пустыню, мчится далѣе къ темному лѣсу, неся на плечахъ своихъ гряды сизыхъ тучъ — нажитое богатство! Но помертвѣлый лѣсъ, окутанный туманнымъ своимъ саваномъ, не встрѣчаетъ уже его ласковою рѣчью, не киваетъ ему привѣтливо курчавой головою. Отчаянный ревъ вѣтра смѣняется тогда тоскливымъ плачемъ и ропотомъ. Сѣрыя тучи нависли и нахмурились. Поля, долины и лѣса окропились прощальною слезою. И вотъ снова, какъ бы негодуя на свою слабость, вѣтеръ однимъ махомъ подобралъ сизыя тучи, бросился къ опушкѣ и, взметнувшись вихремъ, помчался далѣе, увлекая на пути мокрые желтыя листья. Этотъ унылый вой, неотвязчиво надрывающій сердце; ненастье и слякоть, его сопровождающія, прискучили даже поселянину, привыкшему ко всякимъ невзгодамъ. Но вотъ

пришла, наконецъ, и „зимняя Матрена“, поднялась зима на ноги; прилетѣли морозы съ „желѣзныхъ горъ“. Рѣка стала. Рѣзко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дорогѣ; захрустѣли въ колесахъ ледяныя иглы, весело блеснули на солнцѣ длинныя ледяныя сосульки, облѣпившія бахромою окна и кровли избышекъ. Выпалъ первый снѣгъ. Шумною толпой выбѣгаютъ работишки на побѣлѣвшую улицу; въ волоковыя окна выглядываютъ сморщенные лица бабушекъ; врестясь или радостно похлопывая рукавицами, показываются изъ-за скрипучихъ воротъ отцы и старые дѣды, такіе же почти бѣлые, какъ самый снѣгъ, который продолжаетъ валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщаго отдыха. Работы рѣшены: ужъ обмолотились. Съ трудомъ вызовешь теперь мужичка изъ теплой избы, окутанной соломой, прищертой жердями и полузанесенной снѣгомъ. Развѣ приведется стѣбать въ сосѣдній лѣсъ за валежникомъ, или нужда велитъ идти съ обозомъ. И снова спѣшитъ онъ въ теплую избу свою. Котко летать его пустыя санишки по буграмъ и раскатамъ, нетерпѣливо взглядываетъ онъ изъ-подъ рогожи въ снѣжную даль... „Прочь съ дороги!“ Тамъ, севозъ сумерки, уже мелькаетъ огонекъ, привѣтливо подымается витая струя дыма надъ трубнымъ горшочкомъ. Чаше и чаще онъ покрививается на влячу; но вляча сама уже почувала стойло и во всю скачь помчалась съ косогора.

Сладко вѣдь отдохнуть и порасправить кости послѣ тяжкаго страднаго лѣта и многозаботной осени¹⁾...

Такого же характера изображеніе природы въ началѣ XVII-й главы романа: „Рыбаки“... „Тусклый, сѣренькій день. Сводъ неба какъ будто опустился, прилесть въ раздумьи надъ молчаливой землею. Если бъ не теплота воздуха, не запахъ молодой, только что распустившейся зелени, можно бы было подумать, что весна неожиданно смѣнилась осенью. Въ началѣ весны часто встрѣчаются такіе дни. Они похожи на задумчивое прекрасное лицо молодой дѣвушки. Вся природа вдругъ стихнетъ — стихнетъ, какъ рѣзвый ребенокъ, выпущенный на волю, который, не надѣясь на свои силы и не въ мѣру отдавшись шумному крикливому веселью, падаетъ вдругъ, утомленный, на траву

1) Т. V, стр. 166—167.

и сладко засыпаетъ... Въ такіе дни вы звука не услышите. Все живущее какъ будто сдерживаетъ дыханіе, готовится къ чему-то, снова собирается съ силами къ шумному празднеству лѣта. Стада безмолвуютъ, какъ бы опьяненные крѣпкимъ куреніемъ распускающихся растений, которые, за недостаткомъ солнечныхъ лучей, стелются надъ землею: животныя припали къ злачной травѣ, опустили головы или лѣниво бродятъ по окрестности. Птицы сонливо дремлютъ на вѣткахъ, проникнутыхъ свѣжимъ, молодымъ сокомъ; насекомыя притаились подъ древесною корою или забились въ тѣсные пласты моху, похожіе, въ безконечно-уменьшенномъ видѣ, на непроходимые сосновые лѣса; муха не прожужжитъ въ воздухѣ; самъ воздухъ боится, кажется, нарушить торжественную тишину и не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ, не подымаетъ даже легкаго пуха, оставленнаго на лугахъ молодыми, только что вылупившимися гусенятами¹⁾ и т. д.¹⁾. Къ сожалѣнію, подобныя описанія природы у Григоровича очень рѣдки; общій же колоритъ его описаній холодно-безстрастный, пунктуально-объективный. Несмотря на это, описанія природы въ его произведеніяхъ, по справедливости, признаются классическими въ нашей литературѣ: наблюдательность автора и чуткое истощеніе художника вырываютъ ихъ недостатокъ.

Щукинъ.

Григоровичъ и Тургеневъ.

И Тургеневъ и Григоровичъ изображаютъ крестьянскую, и, отчасти, помѣщичью жизнь; и у того и другого цѣлая вереница разнообразныхъ типовъ, множество описаній русской природы, деревенскихъ пейзажей, избъ и т. д.; у того и другого самое теплое отношеніе къ народу, его скорбямъ и печалямъ, ѣдкая насмѣшка и осужденіе тѣхъ, кто заставлялъ народъ страдать; у обоихъ, наконецъ есть извѣстная художественная мѣра въ изображеніи грязи, почему ими обоими никогда не оскорбляется нравственное чувство читателя. Но на этомъ и кончается сходство. Тургеневъ въ *Запискахъ охотника* ограничивается маленькими очерками

¹⁾ Т. V., стр. 258—259.

типа, и обыкновенно изображаетъ его только въ извѣстный моментъ своей съ нимъ встрѣчи; изъ прежней жизни лица приводится иногда нѣсколько рѣзкихъ чертъ, — и только. Пошелъ охотникъ далѣе — и вотъ уже встрѣтилось новое лицо, другое, третье: снова чудный, полный глубокаго смысла, эскизъ, надъ которымъ читатель взрослый, образованный, задумается и удовлетворится вполне: но юноша и простолюдинъ могутъ, хотя и поразиться имъ, но также скоро и забыть его за другими яркими изображеніями совершенно иныхъ типовъ. Мало того, *Записки охотника* — вещи слишкомъ глубокия, тонкія, слишкомъ серіозныя, именно въ самой своей простотѣ, не очень-то легко поддающія уразумѣнію и полной оцѣнкѣ ума, не привыкшаго къ анализу. Онѣ требуютъ опытнаго руководителя, который сумѣлъ бы разъяснить ихъ, обратить вниманіе дѣтей, и особенно народа, привыкшаго въ нелѣпнымъ сказкамъ, къ кудрявому вымыслу, на ту или другую, неподдающуюся анализу, черту, объяснить смыслъ изображаемаго явленія, почему въ самостоятельномъ чтеніи, особенно въ первый разъ, для неопытнаго читателя Тургеневъ — писатель очень не легкій. Самая сжатость его рассказовъ, дѣлающая ихъ такими художественными, требуетъ извѣстной зрѣлости мысли. Григоровичъ, напротивъ, никогда не ограничивается очерками. Взявъ извѣстное лицо, или семейство, онъ подробно, даже иногда слишкомъ подробно, рассказываетъ цѣлую его исторію, начиная съ дѣтства, съ образованія семейства, до самой смерти лица, до разложенія семьи (*Рыбаки, Переселенцы, Пахарь*). Въ этомъ случаѣ онъ напоминаетъ обстоятельностью своихъ описаній Диккенса, котораго напоминаетъ также драматичностью рассказовъ, любовью къ яркимъ, потрясающимъ, эффектамъ (напр. послѣднія сцены въ *Антонъ-Горемыкъ*, кража быка, ночь на Олѣ, въ *Рыбакахъ*; покража нищими мальчика въ *Переселенцахъ* и мн. др.), а также великобѣнными изображеніями дѣтскихъ характеровъ и обиліемъ трогательныхъ семейныхъ сценъ. Подобно Диккенсу же, Григоровичъ мастеръ заинтересовать читателя интригою рассказа, который онъ ведетъ мастерски, несмотря на всю его сложность и разнообразіе лицъ и событій, такъ что невольно приковываетъ къ себѣ вниманіе читателя. И это-то мастерство, разнообразіе и драматичность рассказа, нерѣдко потрясаю-

щая до глубины души (напр. прощаніе переселенцевъ съ родной, смерть Глѣба и прощаніе съ Ваней въ *Рыбакахъ*, пропажа *Антоновой* лошади, смерть *Бобыля*), это-то подробное изложеніе повѣсти, какъ отдѣльнаго случая изъ жизни, или цѣлыя художественныя біографіи лицъ и семей въ соединеніи съ большей, такъ сказать, доступностью изложенія для массъ, чѣмъ у строгаго, скупого на подробности, великаго портретиста Тургенева, дѣлаетъ Григоровича особенно цѣннымъ именно въ смыслѣ воспитательно-образовательнаго значенія для дѣтей и народа. Но эта же любовь къ подробностямъ, къ обстоятельности разсказа, не говоря уже о множествѣ иногда довольно блѣдныхъ описаній природы и мѣстностей (въ „*Смедовской долины*“, напримѣръ, изъ шестнадцати страницъ приходится на разсказъ едва только семь; въ *Пасаръ* на одни описанія и лирику до четырнадцати страницъ), приводитъ автора къ растянутости и даже совершенно лишнимъ разговорамъ и сценамъ. (Напр. въ *Рыбакахъ*: цѣлая глава XI *Прохожіе* или въ XV и XIX черзчуръ подробные разговоры стариковъ, многія подробности въ *Переселенцахъ* и др.). Это необходимо имѣть въ виду воспитателю и чтецу для народа: очень многое у Григоровича слѣдуетъ просто опускать, связывая читаемое краткой устной передачей опущеннаго, насколько это нужно для пониманія хода дѣла. Григоровичъ и разнообразіе, почему, пожалуй, и полезнѣе, въ смыслѣ знакомства съ большимъ количествомъ жизненныхъ фактовъ, чѣмъ Тургеневъ. Послѣдній — специалистъ собственно крѣпостного права съ точки зрѣнія его гибельнаго вліянія и на крестьянъ и на господа, почему и крестьяне и господа являются у него, очень естественно, чаще всего со стороны отрицательной. Не забывая, какъ мы видѣли, человѣческихъ симпатичныхъ сторонъ даже тамъ, гдѣ можно было бы, кажется, заглухнуть, загибнуть, все человѣческое, Тургеневъ, по-преимуществу, рисуетъ картины скорби, горя, страданій, конечно, въ прямой зависимости отъ этого же крѣпостного права,—и въ этомъ огромная не только художественная, но и гражданская заслуга поэта. Григоровичъ, собственно, этою цѣлью не задается, хотя и въ этомъ смыслѣ у него есть вещи потрясающія (*Антонъ-Горемыка*, *Переселенцы*, *Бобыль*,); онъ просто любитъ вообще народъ и хочетъ, чтобы послѣдній узнали и

полюбили читатели; чтобы оживилась и взволновалась его рассказами душа тѣхъ, кто не окаменѣлъ еще до такой степени, чтобы „оживляться только за преферансомъ и волноваться при словахъ: „пасъ“, „ремизъ“, „куплю“ и прочей дряни“... У Григоровича вы знакомитесь и съ рыбацкимъ промысломъ, и съ фабричною жизнью, и съ ярмарками, и съ народными праздниками, и съ жизнью нищихъ, и съ бытомъ шарманщиковъ и акробатовъ, — такъ что этнографическій матеріалъ у Григоровича несравненно богаче, чѣмъ у Тургенева, почему и самая жизнь простонародья обнимается читателемъ несравненно полнѣе. При этомъ авторъ, хотя и изображаетъ множество личностей страдающихъ, уродливыхъ, надломленныхъ, порочныхъ, но эти люди страдаютъ и уродуются не только изъ-за помѣщика или управляющаго, но и изъ-за другихъ социальныхъ причинъ (семейный депотизмъ, невѣжество, растлѣвающая жизнь на фабрикахъ, пьянство, взглядъ на женщину, лѣность, узкій эгоизмъ съ равнодушіемъ къ бѣдѣ ближняго, недостатокъ разумной дѣятельности для натуръ широкихъ). Но, рядомъ съ потрясающей правдой народныхъ бѣдствій и страданій, рядомъ съ личностями — отребьемъ общества, авторъ любитъ изображать и простое, тихое счастье и радости простолюдина, личности непреклонной силы и настойчивости, честнаго, тяжелаго упornaго труда, на которомъ только и можетъ основаться благосостояніе (Пахарь, Глѣбъ и Кондратій въ *Рыбакахъ*, Савелій въ повѣсти *Кошка и мышка* и друг.): — сцены въ родѣ семейнаго вечера, благодарственной молитвы за трудъ, крестинъ, свадьбы — у него однѣ изъ лучшихъ, и образы матерей, женъ, дочерей, отцовъ, дѣдовъ, — словомъ, типы семейные, поражаютъ своею трогательною простотою, полной величайшей силы любви, а иногда даже и тонкою деликатности и нѣжности. Здѣсь встаетъ коснуться одного, весьма важнаго, упрека, который не разъ ему дѣлала ему критика, — будто рассказы его страдаютъ сентиментальностію и излишней идеализаціей простонародной жизни, что, впрочемъ, объясняется временемъ, въ которое нужно было возбуждать особенное сочувствіе къ народу. Вотъ что говоритъ по этому поводу самъ авторъ въ послѣдней страницѣ одного изъ лучшихъ своихъ произведеній „Рыбаки“: „Не стану утруждать читателя описаніемъ этой сцены (свиданіе Вани

съ Дуней и дѣдушкой Кондратіемъ). И безъ того уже найдется много людей, которые обвинять меня въ излишней сентиментальности, излишнихъ, ни къ чему не ведущихъ, изліяніяхъ, обвинять въ неестественности и стремленіи къ идеаламъ, изъ которыхъ всегда не вѣсть что выходитъ... и проч. Доскажу въ нѣсколькихъ словахъ исторію моихъ сермяжныхъ героевъ. Дѣйствительно, если сравнить Григоровича съ многими писателями; такъ называемой, *натуральной* школы, думавшими, что, изображая одну грязь жизни во всей ея отвратительности, они идутъ по стопамъ великаго Гоголя, или даже—съ нѣкоторыми писателями другими, у которыхъ, кромѣ ругани, да народной дурости, почти ничего и нѣтъ, то произведенія этого, уже давно почти замолкшаго, литературнаго дѣятеля могутъ показаться человѣку, мало знакомому съ нашимъ простонародьемъ, особенно удаленнымъ отъ городовъ и не испорченнымъ еще фабричною жизнью, чрезчуръ идеализированными. Дѣйствительно и то, что авторъ, подобно Диккенсу, любитъ оканчивать свои, даже самыя печальныя повѣсти, идиллическимъ счастьемъ (*Переселенцы, Рыбаки, Кошка и мышка, Прохожіи* и нѣкоторыя другія); — но рядомъ съ личностями положительными, напр. Глѣбъ, Савелій, у него является много и личностей отрицательныхъ Гришка, Захаръ; да и въ изображеніи самыхъ лучшихъ людей изъ крестьянъ онъ не закрываетъ глазъ на ихъ недостатки и темныя заблужденія. Такъ, въ личности напр. самого Глѣба, представленнаго очень симпатичнымъ, рядомъ съ качествами, заставляющими его уважать, встрѣчаемъ такія черты, какъ самый грубый деспотизмъ главы дома, самодурное упрямство и эгоизмъ очень мелкаго свойства. Что же касается изображенія народныхъ добродѣтелей, то онѣ почти исключительно семейныя, зависящія, до нѣкоторой степени, отъ нашего родового быта, который, какъ можно видѣть почти изъ всѣхъ произведеній поэта, отнюдь не представленъ съ одной только розовой стороны. Да и представляетъ авторъ эти добродѣли преимущественно въ старикахъ-дѣдахъ, да женщинахъ, по самой натурѣ своей болѣе привязанныхъ къ семейству. Такимъ образомъ, сермяжные герои представлены авторомъ такъ, что, выставляя темныя черты ихъ характеровъ, авторъ не только не закрывалъ глазъ на свѣтлыя, но, напротивъ, оста-

навливался на нихъ подробнѣе и представлялъ ихъ особенно тепло. За такой способъ представленія народной жизни, если и можно назвать его идеалистомъ, воспитатель долженъ быть особенно благодаренъ автору, такъ этотъ способъ, внося въ душу юноши начало трогательнаго, поселяетъ въ ней особенное участіе къ народнымъ несчастіямъ и радостямъ, къ его интимной сердечной жизни, закрытой отъ глазъ наблюдателя непроницаемой грубой внѣшностью. Идеализація Григоровича не есть плодъ сентиментальнаго воображенія; она коренится въ дѣйствительныхъ, хотя, относительно, и рѣдкихъ, хорошихъ сторонахъ нашего народа; поэтъ, какъ художникъ, творческимъ талантомъ своимъ сдѣлалъ ихъ только ярче, и рельефнѣе.

Острогорскій.

Значеніе литературной дѣятельности Григоровича, какъ народнаго писателя.

Общій періодъ литературной дѣятельности Григоровича занималъ собою не болѣе 10—12 лѣтъ и въ своемъ характерѣ и направленіи вполнѣ опредѣлялся двумя первыми разсказами: „Деревней“ и „Антономъ-Горемыкой“. Разсказами, повѣстями и романами изъ простонародной жизни, главнымъ образомъ, опредѣляется и, вообще, мѣсто Григоровича въ исторіи нашей новѣйшей литературы — его значеніе, какъ писателя. Произведенія изъ простонароднаго быта дали ему имя; они навсегда и сохраняютъ это имя въ ряду нашихъ отечественныхъ писателей. Что касается до всего остальнаго, написаннаго Григоровичемъ въ своей литературной дѣятельности, — онъ нерѣдко касался и другихъ сторонъ русской жизни, помимо быта простого народа, но все это не выходило изъ ряда посредственной беллетристики... Высочайшей заслугой Григоровича было то, что онъ однимъ изъ самыхъ первыхъ выступилъ въ своихъ произведеніяхъ на новый литературный путь, однимъ изъ самыхъ первыхъ писателей обратился къ изображенію простого народа, русскаго крестьянскаго міра. Вмѣстѣ съ авторомъ „Записокъ охотника“, идея народности у Григоровича впервые получила реальное приложеніе, — литературнымъ героемъ впервые являлся народъ,

сѣрая народная масса. Одновременно съ первыми разсказами изъ „Записокъ охотника“, въ „Деревнѣ“ и „Антонѣ Горемыкѣ“ Григоровича, и въ цѣломъ рядѣ послѣдовавшихъ за тѣмъ его разсказовъ, очерковъ, романовъ — русскому просто-народью впервые отводилось высокое подобающее ему мѣсто въ родной литературѣ. Правда, русскій народъ и прежде нерѣдко появлялся на страницахъ русской повѣсти, комедіи, романа, иногда даже съ полной жизненной реальностью изображенія, какъ напр. у Пушкина и Гоголя; но всѣ эти появленія народа имѣли все же больше случайный, эпизодическій характеръ: народъ захватывался литературной картиной или какъ общій фонъ, или мимоходомъ, какъ бы въ роли статиста, простой обстановки. Полноправнымъ литературнымъ героемъ народъ впервые выступилъ лишь въ „Запискахъ охотника“ и въ произведеніяхъ Григоровича. Въ лицѣ Тургенева и Григоровича наша литература впервые со своей должествующей серіозностью и внимательностью приступила къ изученію и художественно-реальному изображенію русскаго крестьянскаго міра, впервые вполнѣ серіозно рѣшилась взяться за изображеніе крестьянской бабы, мужика-голыша, рыбака, нищаго, акробата, фабричнаго и пѣлаго ряда другихъ подобныхъ „сермяжныхъ героев“... Наша литература впервые теперь какъ бы окончательно теряла свой изящный барскій тонъ, принимая характеръ литературы „мужицкой“... Въ послѣднемъ отношеніи, со стороны реальности изображенія, Григоровичъ идетъ какъ бы гораздо дальше „Записокъ охотника“, почему и вызвалъ на себя со стороны нѣкоторыхъ критиковъ обвиненія въ утрировкѣ мрачными красками, — критиковъ, которымъ вполнѣ нравились разсказы изъ „Записокъ охотника“... Дѣйствительно, тамъ читатель, по крайней мѣрѣ, находился на свѣжемъ воздухѣ; Григоровичъ повелъ его въ грязную, курную, мужицкую избу... У Григоровича „сермяжные герои“ впервые явились передъ публикой во всей своей деревенской обстановкѣ, въ рваныхъ zipунахъ и грязныхъ онучахъ, со всѣми своими „болѣзными“ нуждами и бѣдами... Давно назрѣвшія и въ обществѣ и литературѣ потребности въ изученіи народнаго быта теперь впервые получали серіозное удовлетвореніе.

Жизнь простого народа охватывается въ произведеніяхъ Григоровича, дѣйствительно, съ самыхъ различныхъ сторонъ,

во всей ея полнотѣ. Передъ читателемъ проходить длинная вереница самыхъ разнообразныхъ крестьянскихъ типовъ и характеровъ, безконечный рядъ самыхъ различныхъ сторонъ и перипетій крестьянскаго житія-бытія, со всѣми его будничными событіями, радостями и скорбями. Это — цѣлая эпопея „крестьянства“, иногда довольнаго и счастливаго, но чаще — загнаннаго, подавленнаго, забитаго нуждой и всякими „тѣснотами“... Несчастія и бѣды иногда зависаютъ и отъ невѣжества, лѣни „героевъ“, но, обыкновенно и чаще — отъ ихъ общей обстановки, отъ притѣсненій „лихихъ людей“. Какъ и въ жизни, драма чередуется съ семейными радостями, даже идилліей; рассказъ нерѣдко подергивается какой-то идиллической дымкой. Прибавимъ даже: у писателя иногда можно встрѣтить тонъ нѣсколько искусственный; деревенскіе герои изрѣдка какъ бы теряютъ свою „сермяжную“ естественность и на мгновенье готовы перейти въ „пейзажъ“... Но это лишь исключенія, частности. Вообще, писатель вѣренъ дѣйствительности, и указанныя уклоненія, болѣе или менѣ замѣтныя въ отдѣльных мѣстахъ, не мѣшаютъ общей вѣрности разсказа. Суровая дѣйствительность не только не скрывается, не затушевывается писателемъ, напротивъ, выступаетъ со всею яркостью и иногда поражающей реальностью. Писатель старается рисовать жизнь во всей ея жизненной правдѣ, не утаивая ея хорошихъ сторонъ, но и не налегая исключительно на грязь и пошлость; мрачныя краски, впрочемъ, невольно берутъ перевѣсъ въ картинѣ...

Не идеализируя своихъ „сермяжныхъ героевъ“, писатель тѣмъ не менѣ любитъ ихъ, — эта любовь передается и читателю: теплое, сердечно-правдивое отношеніе автора къ его „сермяжнымъ“ героямъ, всюду разлитыя въ его произведенія, горячая любовь и участіе къ судьбѣ „горемычныхъ“ Антоновъ сообщаются и читателю, заставляютъ его задумываться...

Но писатель любить не слѣпо. Онъ хорошо видитъ и сознаетъ дурныя стороны своихъ героевъ. Онъ не скрываетъ поражающаго невѣжества описываемой имъ крестьянской среды, царящаго здѣсь суевѣрія, страшной грубости нравовъ, нерѣдко безчеловѣчія и жестокости, апатичной лѣни, наконецъ, этой стадности выведенной толпы. Нѣкоторыя страницы Григоровича въ этомъ отношеніи напоминаютъ атмо-

сферу „Власти тьмы“... Съ свѣтлыми „идиллическими“ сценами у писателя чередуются картины грубаго эгоизма пьянства и нищеты, злорадства несчастію ближняго, тупого равнодушія къ гибели собственнаго брата-крестьянина, общей развращенности фабричной среды. Читателя чаще всего охватывает тяжелое чувство: онъ видитъ предъ собою народъ, подавленный нуждой, — народъ, который или ходитъ пришибленнымъ „горемыкой“, какъ Антонъ, или пьянствуетъ и мошеничаетъ, думая только о себѣ и грабя своего же брата-крестьянина, какъ мельникъ Авксентій; или превращается прямо въ стадо, которое помнитъ лишь о томъ, что „своя шкура дороже“... Припомнимъ, напр., эту толпу, которая, подъ вліяніемъ минутнаго стаднаго страха, головой выдаетъ управляющему Антона...

Общій главный источникъ гнетущей атмосферы писатель видитъ въ крѣпостномъ правѣ. Это — главная и основная причина „горемычной“ судьбы выводимыхъ Антоновъ. Эта сторона дѣйствительности особенно отбѣивается писателемъ въ его первыхъ произведеніяхъ, — въ этомъ и сосредоточивалось ихъ главное общественное значеніе для своего времени. „Деревня“ показала, сколько горя, несчастія можетъ принести крестьянской бабѣ даже добрый въ сущности баринъ, желающій даже „поблагодѣтельствовать“. „Антонъ Горемыка“ наглядно рисовалъ то отчаяніе, до котораго можетъ дойти самый смиренный и честный крестьянинъ подъ невыносимымъ гнетомъ безысходной нужды, ежедневныхъ оскорбленій и насмѣяній, всей давящей обстановки безысходнаго рабства... Рабство превращаетъ народъ въ тупую, апатичную толпу, равнодушно относящуюся къ несчастію бѣдняка: припомнимъ смѣхъ старика надъ бѣгущимъ за лошадыю ополоумѣвшимъ Антономъ, — это равнодушіе кузнеца Вавилы, набивающаго Антону на ноги арестантскія колодки...

Произведенія Григоровича особенно богаты этнографическимъ содержаніемъ. Передъ читателемъ въ яркихъ картинахъ развертывается вся жизнь народа, со всѣми бытовыми ея подробностями, со всѣми ея мелкими обыденными чертами, со всѣмъ богатымъ разнообразіемъ ея мелочей. Тутъ передъ нами не только крестьянская, земледѣльческая работа, но весь міръ „христианства“ — рыбаки, фабричные, офени-торгаши, бродяги-нищіе и т. д.

Нельзя не отмѣтить, въ заключеніе, нѣкоторыхъ внѣшнихъ недостатковъ разсказа нашего писателя — ихъ нерѣдко излишней растянутости. Писатель часто какъ бы злоупотребляетъ своимъ мастерскимъ талантомъ къ описаніямъ, картинамъ, и подробностями изложенія утомляетъ читателя... Многие его разсказы, — особенно, — романы, значительно бы выиграли, если бы были сокращены даже на цѣлую треть.

Архателъскій.

Художественное и общественное значеніе сочиненій Григоровича.

Русская литература сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ надолго оставить по себѣ прекрасную память въ русскомъ обществѣ. Она подарила ему значительное количество высоко-художественныхъ произведеній, пробудила въ немъ самосознаніе и жизненные силы, вызвала важные насущные вопросы и даже намѣтила пути и способы къ ихъ рѣшенію. Вѣрнымъ и разностороннимъ изображеніемъ русскаго общества, его экономического и интеллектуальнаго состоянія литература этого времени, въ формѣ произведеній и искусства, поставила на твердую почву не мало общественныхъ задачъ, которыя предстояло рѣшить въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. Такое въ высокой степени плодотворное направленіе выразилось въ цѣлой группѣ талантливыхъ писателей, сколько замѣчательныхъ въ художественномъ отношеніи, столько же и по гражданской заслугѣ предъ отечествомъ. Къ числу наиболѣе крупныхъ, въ такомъ смыслѣ, дѣятелей этого періода русской литературы принадлежитъ Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. Вышедшее полное собраніе его сочиненій даетъ поводъ бросить взглядъ на существенныя стороны его замѣчательнаго дарованія и означить мѣсто, занимаемое имъ въ русской литературѣ.

Въ ряду многочисленныхъ произведеній Григоровича прежде всего обращаютъ на себя вниманіе какъ въ художественномъ, такъ и въ общественномъ значеніи, его романы, повѣсти и разсказы изъ крестьянскаго быта. Въ нихъ онъ является глубокимъ знатокомъ и талантливымъ живописцемъ природы и народной жизни средней полосы Россіи, въ чер-

тахъ и краскахъ, подмѣченныхъ съ замѣчательною наблюдательностію и мастерски выраженныхъ. Едва ли у кого-нибудь изъ русскихъ писателей можно найти такую богатую галерею картинъ, представляющихъ разнообразныя пейзажи и явленія русской природы въ различныя времена года, и всевозможныя бытовныя сцены изъ народной жизни, обставленныя типичными лицами. Обиліе разбросанныхъ въ романѣ Григоровича описаній нисколько не утомляетъ читателя, какъ не утомить его обзоръ коллекцій ландшафтовъ и жанровыхъ картинъ большого мастера. Довольно прочесть прекрасныя страницы, посвященныя описанію прибрежій Оки, весенняго водополья на ней или Смедовской долины, чтобы видѣть, какъ авторъ глубоко чувствуетъ и съ какимъ высокимъ искусствомъ умѣетъ изображать своеобразныя красоты русской природы. Такъ же вѣрны и живописны картины русской деревни, со всей обстановкой ея трудового быта, то привлекающаго довольствомъ, то поражающаго нуждою и бѣдностью, съ присущею имъ патріархальною простотою и коренными или прививными пороками. Наконецъ, цѣлый рядъ разнообразныхъ типовъ — пахари, рыбаки, пастухи, бродячіе торгаши, цыгане, фабричныя, слѣпые-нищіе, съ характерными особенностями ихъ жизни и самаго языка, — все это отличается правдою и оригинальностью рисунка, свѣжестью и блескомъ красокъ.

Кромѣ художественнаго достоинства, романы и повѣсти Григоровича изъ сельскаго быта имѣютъ и другое, еще болѣе важное, значеніе, по которому они должны занять выдающееся мѣсто въ исторіи русской литературы и общественнаго развитія. Въ нихъ авторъ, какъ бы въ предвидѣніи наступающихъ реформъ въ строѣ русскаго общества, представилъ въ поразительно вѣрныхъ образцахъ тяжелое положеніе крестьянъ подъ гнетомъ крѣпостного права, при отсутствіи правильнаго суда и земскаго устройства. Вопросъ о ненормальности этого положенія затрогивался и у другихъ русскихъ писателей, какъ, напримѣръ, у Тургенева и Писемскаго, но никто не раскрылъ такъ смѣло и прямо, съ такой очевидною ясностью настоятельной необходимости близкаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, какъ Григоровичъ. Онъ взглянулъ на этотъ вопросъ не съ внѣшней стороны, не въ частныхъ злоупотребленіяхъ

помѣщичьей власти, а со стороны существеннаго вреда самаго крѣпостнаго права. При этомъ ясно обнаруживается, какъ бѣдствовали и даже гибли люди честныхъ и доброжелательныхъ помѣщиковъ, вслѣдствіе только неправильныхъ между ними отношеній. Такова основная мысль въ цѣломъ рядѣ произведеній талантливаго беллетриста.

Въ прекрасной глубоко-трогательной повѣсти „Антонъ Горемыка“ Григоровичъ выставилъ плачевную судьбу честнаго и трудолюбиваго крестьянина, который гибнетъ за то, что, по мірскому приговору, написалъ барину, постоянно живущему въ Петербургѣ, жалобу на притѣсненіе управляющаго. Письмо перехватываютъ, и мужикъ горько платится за свою грамотность. Управляющій, тоже крѣпостной чело-вѣкъ, начинаетъ его преслѣдовать, отбираетъ у него удобную землю, совершенно разоряетъ его съ семьею и, наконецъ, доводитъ до ссылки на поселеніе. Передъ читателями проходитъ съ поразительными подробностями вся эта печальная драма, съ той минуты, когда „Горемыка“, подъ угрозой наказанія, ведетъ продавать послѣднюю свою лошадь на уплату оброка, до мрачной развязки его участи передъ этапной телѣгой, при столахъ навсегда покидаемой семьи. Романъ „Переселенцы“ представляетъ не менѣе печальную судьбу крестьянскаго семейства, которое безъ вины должно покинуть родную деревню и отцовскія могилы и идти въ далекій, незнакомый край, на инныя условія жизни. И къ этому невольному переселенію принуждаетъ бѣдныя не жестокость и самодурство помѣщика. Онъ, напротивъ, желаетъ имъ искренно добра, а между тѣмъ дѣлаетъ зло единственно по незнакомству съ бытомъ крестьянъ и ихъ насущными потребностями. Такая же грустная картина крѣпостнаго права открывается въ повѣсти „Деревня“. Въ ней разсказывается, какъ баринъ, проживавшій обыкновенно въ столицѣ и за границей, вздумалъ провести одно лѣто въ своемъ имѣніи. Тамъ встрѣчаетъ онъ свою крѣпостную дѣвушку, бѣдную, загнанную сироту и, съ филантропическимъ желаніемъ устроить ея судьбу, выдаетъ ее замужъ; но она попадаетъ въ семью, гдѣ ее ненавидятъ, бьютъ, изнуряютъ непосильной работой, и несчастная погибаетъ жертвой необдуманной воли помѣщика, нисколько ни злого и доброжелательнаго. Въ очеркѣ „Бобыль“ описывается, какъ восьми-

десятилѣтній старикъ, у котораго отобрали пашню, въ холодную и ненастную осень, на пути отъ больницы, куда его не приняли, заходить въ деревню человѣколюбивой старушки-помѣщицы, но его удаляютъ оттуда во избѣжаніе хлопотъ передъ судомъ, въ случаѣ смерти бѣдняка, и онъ умираетъ на дорогѣ. Подобное же значеніе имѣютъ и нѣкоторые другіе повѣсти и рассказы автора изъ крестьянскаго быта. Все это наглядно показываетъ, въ какой степени благотѣльны были реформы, совершенныя потомъ державною волею императора Александра II. Если русская литература содѣйствовала подготовленію общества къ осуществленію этихъ реформъ, то, несомнѣнно, что значительная доля заслуги по этому предмету принадлежитъ Д. В. Григоровичу.

Нѣкоторые изъ русскихъ тенденціозныхъ критиковъ находили, будто Григоровичъ въ своихъ сочиненіяхъ изъ крестьянскаго быта идеализируетъ русскую народную жизнь и нравы. Такое мнѣніе едва ли можно признать справедливымъ. Обвиненіе это, очевидно, возникло изъ того односторонняго реализма, который смотрѣлъ на народъ исключительно съ отрицательной точки зрѣнія и, схватывая его темныя и грубыя стороны, считалъ всякія симпатичныя отношенія къ свѣтлымъ явленіямъ его жизни искусственными. Сочувствіе къ лучшимъ сторонамъ народного характера казалось этимъ псевдо-реальнымъ критикамъ романическаго сентиментальностью. Напротивъ, Григоровичъ, въ изображеніи крестьянскаго быта и нравовъ, гораздо ближе къ дѣйствительности, чѣмъ тѣ беллетристи-народники, которые фотографировали однѣ уродливыя черты этой среды. Онъ одинаково вѣрно представляетъ все, что есть въ этой средѣ честнаго и привлекательнаго, и все, что изъ нея выходитъ грубаго и отталкивающаго. Въ самомъ объективномъ его романѣ „Рыбаки“, гдѣ представленъ бытъ крестьянъ свободныхъ, не придавленныхъ крѣпостнымъ правомъ, на ряду съ свѣтлыми явленіями и лицами, показаны черты весьма печальныя и выведены типы людей далеко некрасиваго закала. Ясно, что Григоровичъ не идеалистъ, а художникъ реальный, въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Въ другой серіи произведеній Григоровича, въ которыхъ изображается провинціальный помѣщичій бытъ и городская жизнь такъ называемаго интеллигентнаго круга,

видно также обширное знаніе этой среды и тонкая наблюдательность въ подробностяхъ какъ внѣшней, такъ и внутренней ея стороны. Обстановка губернской жизни и интересы провинціального дворянства, блестящая пустота свѣтскаго общества и столичная суетность такъ же хорошо извѣстны автору, какъ и бытъ деревенскаго населенія. Но здѣсь онъ обращается преимущественно къ отрицательнымъ сторонамъ жизни, хотя рисуетъ ихъ не столько съ обличительно-сатирической цѣлью, сколько съ желаніемъ показать ея смѣшныя особенности. Подъ вліяніемъ такого взгляда въ изображеніи нравовъ и лицъ его рисунокъ становится слишкомъ рѣзкимъ и краски неумѣренно яркими. Лучшее сочиненіе Григоровича въ этой серіи — обширный романъ „Проселочныя дороги“. Это длинный рядъ сценъ и этюдовъ, не связанныхъ общою интригою, но представляющихъ одну цѣльную картину комическихъ сторонъ провинціальной жизни. Здѣсь существенный характеръ ея подмѣченъ очень вѣрно, но въ выведенныхъ лицахъ есть черты преувеличенныя, лишающія ихъ значенія вполне художественныхъ типовъ. Еще болѣе замѣтно это въ повѣстяхъ и разсказахъ изъ городского круга, каковы: „Похожденія Накатова“, „Столичные родственники“, „Школа гостепріимства“, „Свистулькинь“, — въ которыхъ комическія положенія и лица впадаютъ въ карикатурность. Но все это представляетъ столько забавныхъ сценъ и смѣшныхъ фигуръ, отличается такимъ неподдѣльнымъ весельемъ и остроуміемъ, что скрываетъ шаржировку, и каждый изъ этихъ оригинальныхъ разсказовъ читается съ большимъ, нигдѣ не ослабѣвающимъ интересомъ.

Тѣсныя рамки библіографическаго отзыва не позволяютъ ни войти въ подробное разъясненіе высказаннаго здѣсь взгляда, ни представить характеристику другихъ произведеній плодovitости автора. Необходимо однако замѣтить, что въ ряду ихъ не мало прекрасныхъ сочиненій, которые отличаются своеобразными достоинствами. Нельзя не упомянуть о романѣ „Два генерала“, гдѣ схвачены характерныя черты провинціального быта въ эпоху, послѣдовавшую за эмансипаціей крестьянъ, о повѣсти „Пахатники и бархатники“, въ которой сопоставлены нужды и интересы людей труда и разсѣянной жизни. Въ разсказахъ „Петер-

бургскіе шарманщики“ и „Гуттаперчивый мальчикъ“ читатели находятъ мастерскіе этюды изъ жизни того особаго класса столичнаго пролетаріата, который добываетъ свой нищенскій кусокъ хлѣба уличной музыкой и балаганными потѣхами. Святочный рассказъ „Прохожій“ можетъ служить образцомъ сочиненій, прославленныхъ Диккенсомъ; а повѣсть „Неудавшаяся жизнь“, взятая изъ быта художниковъ, представляетъ такія же, вѣрно подмѣченныя черты этого быта, какія находимъ у Гоголя въ повѣстяхъ „Портретъ“ и „Невскій проспектъ“. Д. В. Григоровичъ справедливо пользуется извѣстностью практическаго знатока въ области художествъ, и очевидно подтвержденіе этого можно найти въ его сочиненіяхъ. Стоитъ прочесть въ его рассказахъ о заграничной поѣздкѣ на кораблѣ „Ретвизанъ“ описаніе копенгагенскаго музея Торвальдсена, луврской галлерей, соборовъ и художественныхъ сокровищъ въ Кадиксѣ и Севильѣ, чтобы оцѣнить его глубокія знанія и эстетическій вкусъ въ различныхъ отрасляхъ искусства. Это еще болѣе выясняется изъ его статей: „О картинахъ англійскихъ живописцевъ въ Лондонѣ“ и „Художественное образованіе въ приложеніи къ промышленности на всемірной парижской выставкѣ“. Въ нихъ высказано мною замѣчательныхъ сужденій, сколько важныхъ для художниковъ, столько же любопытныхъ для всѣхъ образованныхъ людей, интересующихся искусствомъ.

Миллюковъ.

Воспитательное значеніе сочиненій Григоровича.

Въ произведеніяхъ Д. В. Григоровича мужикъ впервые появился въ русской беллетристикѣ въ связи съ бытовымъ и семейнымъ укладомъ своей жизни и прочно занялъ въ ней свое мѣсто. Нѣсколько идеальное освѣщеніе этой жизни и самаго мужика не сгладило характерныхъ чертъ его внутренней фizioноміи: она выступила довольно рельефно и заставила обратить на себя вниманіе общества. Въ этомъ смыслѣ Григоровичъ, по всей справедливости, долженъ быть признанъ прямымъ родоначальникомъ той школы писателей, которая получила имя народнической.

Народники шли уже по проложенным слѣдамъ и часто перепѣвали темы, намѣченные уже нашимъ писателемъ.

Въ смыслѣ знанія народной жизни и изображенія ея нуждъ и темныхъ сторонъ они пошли дальше своего учителя, но въ художественной обработкѣ народныхъ типовъ никто изъ нихъ не возвысился до учителя.

Тотъ періодъ народной жизни, который изображенъ Григоровичемъ, уже остался далеко позади современнаго поколѣнія; освобожденная отъ рабства, деревня шагнула значительно впередъ; у нея появились новыя нужды, новое горе; народились и новые деревенскіе типы. Несмотря на медленный темпъ народной жизни, многое въ ней измѣнилось съ того времени, въ какое изображалъ ее Григоровичъ.

Кто захочетъ изучить русскую деревню и ея жизнь въ настоящее время, тотъ обратится къ другимъ художественнымъ источникамъ, а не къ сочиненіямъ Григоровича. Можно безъ преувеличенія сказать, что съ этой стороны произведенія Григоровича уже теряютъ свое значеніе. Но эти произведенія долго не потеряютъ своего значенія для школы и народа. Въ произведеніяхъ Григоровича есть одинъ вѣчный, неуываемый элементъ, который даетъ имъ высокое воспитательное значеніе: это — гуманная проповѣдь любви къ меньшему брату, постоянное напоминаніе, что мужикъ — такое же разумное существо, чувствующее и страдающее, какъ и люди, поставленные въ болѣе благоприятныя условія жизни; что онъ часто и благороднѣе и чище этихъ людей; что темнота крестьянина должна возбуждать не отвращеніе къ нему, а чувство сожалѣнія и стремленіе внести въ эту темноту посильный свѣтъ. Незаурядный художественный талантъ автора дѣлаетъ эту проповѣдь и краснорѣчивой и убѣдительною. И она не утратила своего значенія и въ настоящее время. А въ то время, когда она впервые раздалась, она была звукомъ колокола, будившимъ русское общественное самосознаніе и подготовившимъ почву для великаго дѣла — освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Въ этомъ громадная, историческая заслуга Д. В. Григоровича.

Шукинъ.

Общественное настроеніе сороковыхъ годовъ и отраженіе его на литературной дѣятельности Григоровича.

Еще сильнѣе было вліяніе на нашего писателя со стороны общественнаго настроенія того времени, на которое падаетъ начало и расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Если бы мы не обратили вниманія на характеръ той эпохи, когда началъ писать свои народные рассказы Григоровичъ, то направленіе литературной его дѣятельности осталось бы совершенно непонятнымъ.

Нашъ писатель — истый и типичнѣйшій представитель эпохи сороковыхъ годовъ. Какъ „война рождаетъ героев“, такъ и каждая эпоха общественной жизни выдвигаетъ выразителей своихъ стремленій и чаяній. Сороковые года даютъ цѣлую яркую картину русской общественной жизни. Стоитъ только припомнить имена литературныхъ представителей этой эпохи, чтобы понять роль ея въ развитіи общественнаго самосознанія: это время дѣятельности знаменитыхъ кружковъ славянофиловъ и западниковъ, уже разошедшихся во взглядахъ на значеніе прошлаго русской исторіи и на средства осуществленія исторической миссіи русскаго народа, но сходящихся въ общихъ искреннихъ желаніяхъ блага этому народу: это время пылкихъ статей Бѣлинскаго, время кипучей дѣятельности Кирѣевскихъ и К. Аксакова. Во всѣхъ горячихъ спорахъ и статьяхъ того времени слышится одна доминирующая нота: желаніе добра народу, стремленіе осмыслить ходъ его исторической жизни. Отсюда прекрасное знакомство представителей этой эпохи съ исторіей, съ бытомъ народа, — стремленіе собрать памятники народной словесности. Общественное настроеніе, которымъ характеризуются сороковые года, возникло и развивалось подъ самыми сложными вліяніями. На русской почвѣ ему предшествовала насквозь проникнутая гуманными взглядами поэтическая дѣятельность Пушкина и Гоголя, зна-

комство русскаго общества съ горемъ и радостями простаго народа по пѣснямъ Кольцова. А со стороны Европы широкой волной нахлынули идеи философіи Шеллинга, Фихте, Гегеля. Извѣстно, какъ горячо, напримѣръ, эти идеи интересовали кружокъ Станкевича, въ которомъ долгое время, во имя ихъ мирно уживались Бѣлинскій рядомъ съ К. Аксакковымъ, Катковъ рядомъ съ Бакунинымъ. Отъ теоретическихъ разсужденій обращались къ обсужденію явленій дѣйствительной жизни. Къ этому подавала поводъ и сама философія. Ученіе Гегеля о Тріединомъ въ исторіи, о необходимости націи, которая воплотила бы въ себѣ идею абсолютнаго, заставляло искать такую націю и усматривать признаки ея въ родномъ народѣ. Оказывало свое вліяніе и оживленіе общественныхъ вопросовъ въ европейской жизни, тамошнія симпатіи къ демократизму. Къ намъ шли произведенія Диккенса, протестанта противъ несовершенствъ общественнаго устройства Англіи; шли произведенія Жоржъ-Зандъ, исполненныя горячей проповѣди за освобожденіе отъ установившихся общественныхъ рамокъ. Подъ всѣми этими вліяніями создалась особенная сфера, которою дышали люди сороковыхъ годовъ, — сфера пропитанная гуманитарными взглядами, горячей любовью къ народу. Этотъ основной тонъ эпохи, какъ нельзя, лучше отразился и въ твореніяхъ писателей, воспитавшихся подъ ея вліяніемъ, — писателей, которыхъ съ необыкновенною щедростью выдвинула эта эпоха, которые сдѣлались украшеніемъ русской литературы: во главѣ ихъ стоятъ такіа имена, какъ Тургеневъ, Толстой, Достоевскій.

Духъ сороковыхъ годовъ вѣетъ и въ произведеніяхъ Григоровича. И въ свою очередь то обстоятельство, что его сердце билось въ унисонъ настроенію общества, послужило главной причиною успѣха его первыхъ произведеній изъ народнаго быта.

Шукинъ.

Отношеніе Григоровича къ своимъ предше- ственникамъ.

Несправедливо было бы отрицать связь характера литературной дѣятельности Григоровича съ тѣмъ, что дала русская литература до него, и съ эпохой, когда писалъ Григоровичъ. Связь эта существуетъ и очевидна. Изъ писателей несомнѣнное вліяніе на направленіе литературной дѣятельности Григоровича оказали — изъ русскихъ: Пушкинъ и Гоголь, изъ иностранныхъ — въ особенности Жоржъ-Зандъ и Диккенсъ.

Пушкинъ, этотъ гуманнѣйшій изъ поэтовъ, хотя и не изображавшій специально народного быта, но понявшій русскій народъ и постигшій его, по выраженію Достоевскаго, „въ такой глубинѣ и обширности, какъ никогда и никто, обнаруживши въ своихъ произведеніяхъ горячую любовь къ нему, которая заставила его высказать благородное пожеланіе:

Увижу ли народъ не угнетенный]
И рабство, падшее по манію царя,

былъ первымъ и главнымъ учителемъ нашего писателя.

Натурализмъ Гоголя, его обращеніе къ изображенію отрицательныхъ явленій русской жизни, его смѣхъ сквозь слезы надъ не нормальностями ея, — смѣхъ, полный сочувствія къ погрязшему въ нравственной тѣмѣ собрату; его поэтическия изображенія сельской природы и нравовъ въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“ также подготовляли почву для появленія произведеній изъ простонароднаго быта съ той гуманной окраской, которую мы находимъ у Григоровича.

Жоржъ-Зандъ въ сороковые года была любимѣйшею европейскою писательницею. Громаднымъ успѣхомъ пользовались ея рассказы изъ жизни французскихъ крестьянъ. Прикрашенные идиллическимъ изображеніемъ сельской жизни, эти рассказы должны были служить подтвержденіемъ горячей проповѣди этой писательницы о необходимости свободы

отъ цѣпей различныхъ общественныхъ условностей, дававшихъ свободное проявленіе человѣческой личности. Въ общемъ тонѣ народныхъ произведеній Григоровича, въ нѣсколько сентиментальной и идиллической окраскѣ крестьянскаго быта чувствуется манера Жоржъ-Зандъ.

Не менѣе замѣтно на произведеніяхъ Григоровича и вліяніе англійскаго писателя Диккенса. Яркое изображеніе послѣднимъ участи различнаго рода горемыкъ, страдающихъ отъ несовершенствъ общественнаго устройства, нашло въ сердцѣ русскаго писателя горячій откликъ и оставило ясныя слѣды на его творчествѣ. Вліяніе Диккенса на Григоровича чувствуется не только въ выборѣ послѣднимъ сюжетовъ для народныхъ произведеній, изображающихъ въ большинствѣ случаевъ различные заключенія и неурядицы въ бытовой жизни крестьянъ въ противовѣсъ широкой и безпечальной помѣщицкой жизни, но также въ широкое и подробное воспроизведеніе описываемаго быта съ особеннымъ пристрастіемъ къ сценамъ изъ семейной и дѣтской жизни и въ юмористическомъ изображеніи дѣйствительности, что составляетъ характерныя черты романовъ англійскаго писателя.

Даже на технической сторонѣ произведеній Григоровича отразились черты творчества Диккенса: введеніе, напр., часто встрѣчаемыхъ у Григоровича отдѣльныхъ рассказовъ, вкладываемыхъ въ уста дѣйствующихъ лицъ и не имѣющихъ связи съ разворачивающимся въ произведеніи повѣствованіемъ, составляетъ несомнѣнный результатъ подражанія нашего писателя знаменитому англійскому романисту.

Есть у Григоровича произведеніе, представляющее изъ себя непосредственное, самое близкое подражаніе этому писателю: это романъ — „Проселочныя дороги“, сильно напоминающій романъ Диккенса: „Записки Пиквикскаго Клуба“ здѣсь цѣликомъ воспроизведенъ, безсмертный образъ одного изъ героевъ этого романа — Джингла, съ его характернымъ лаконическимъ стидемъ въ лицѣ нѣкоего Попельковскаго. Копія вышла несравненно слабѣе своего оригинала, но сохранила всѣ его существенныя черты.

Шукинъ.

Значеніе Григоровича въ области живописи и художественной промышленности.

Въ области живописи и художественной промышленности Григоровичемъ оказаны громадныя услуги, повидимому, еще недостаточно оцѣненные. Вліяніе его въ „Обществѣ поощренія художниковъ“ было въ высшей степени полезно для этого маленькаго, но весьма важнаго учрежденія, которому наше молодое искусство было очень многимъ обязано. Григоровичъ неуклонно направлялъ „Общество“ къ его главной цѣли — воспитанію талантливыхъ художниковъ, такъ сказать, пропущенныхъ нашей Академіей или развившихся внѣ ея. Въ этомъ отношеніи довольно указать на попеченія, какими Григоровичъ окружилъ одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ пейзажистовъ, Васильева, къ прискорбію унесеннаго смертью почти въ самомъ началѣ поприща.

Руководимое Григоровичемъ „Общество поощренія художниковъ“ представляло собою какъ бы частную Академію, во многомъ дополнявшую и поправлявшую Академію officialную. Эта частная Академія была менѣе проникнута классическою рутиною и болѣе доступна новымъ вѣяніямъ и теченіямъ въ искусствѣ. Въ ней жилъ литературный духъ, котораго сильно недоставало казеннымъ академикамъ, и она была ближе, роднѣе молодымъ талантамъ. Въ 70-хъ годахъ маленькіе ежегодные конкурсы на преміи „Общества“ привлекали общее вниманіе и сочувствіе, и на этихъ конкурсахъ нерѣдко можно было видѣть произведенія, мало уступавшія тому, что выставяла Академія.

Еще большее значеніе имѣетъ дѣятельность Григоровича, какъ учредителя и перваго собирателя художественно-промышленнаго музея. Это учрежденіе всецѣло обязано его обширнымъ знаніямъ и неутомимой энергіи коллекціонера. Григоровичъ каждый годъ ѣздилъ за границу, изучилъ тамошніе музеи, заказывалъ копіи моделей, посѣщалъ лавчонки bric-à-brac, нерѣдко пріобрѣтая тамъ за безцѣнокъ замѣчательныя вещи, и вообще былъ и создателемъ и душою первого

у насъ собранія художественно-промышленныхъ образцовъ. Увлечение его этимъ дѣломъ съ годами только росло, какъ росло и самое дѣло: музей приобрѣлъ помѣщеніе въ собственномъ зданіи, возникла рисовально-живописная школа и т. д.

Личность Григоровича была какъ бы создана для такихъ культурно-общественныхъ предпріятій. Всегда живой, воодушевленный, въ высшей степени общительный, онъ умѣлъ располагать нужныхъ людей къ интересующему его дѣлу и возбуждать жизнь тамъ, куда проникало обаяніе его неутомимой энергіи и его остроумной, мѣткой, сангвинической рѣчи. Тѣсныя круги нашего высшаго свѣтскаго общества должны были по достоинству оцѣнить оживленіе, вносимое имъ въ ихъ среду. Наполовину французъ по происхожденію, Григоровичъ отличался всѣми качествами умнаго, блестяще-образованнаго, всегда интереснаго собесѣдника. Про него можно было сказать, что его разговоръ часто давалъ больше, чѣмъ его литературныя произведенія.

Вліяніе Григоровича на нашихъ художниковъ было важно именно въ томъ отношеніи, что онъ какъ бы создавалъ связь между пластическими искусствами и литературою. Въ противоположность съ европейскими столицами, въ Петербургѣ было очень мало общенія между писателями и художниками. Между тѣмъ нигдѣ искусство не состояло въ такой зависимости отъ литературныхъ теченій, какъ именно у насъ съ 60-хъ годовъ. Реалистическая критика и натуралистическая беллетристика того времени совершенно подчинили себѣ возникшую тогда русскую школу. Но это было какое-то эпидемическое подчиненіе, распространявшееся заразнымъ путемъ, огульно и зачастую нелѣпно. Художники подпали давленію низшихъ теченій, не замѣчая, что въ журналистикѣ это было только преходящее судорожное движеніе, и какъ бы не подозревая, что надъ литературою новыхъ формъ и тенденцій стояла зрѣлая художественная литература, еще блиставшая въ то время всѣми своими лучшими именами. Случалось такъ, что богатые прелестными образами и картинами произведенія Тургенева, гр. Толстого, Гончарова проходили совершенно безслѣдно для вдохновенія художниковъ, тогда

жакъ произведенія новыхъ авторовъ, съ ихъ отрицательнымъ народничествомъ и фальшивою тенденціозностью, чуть не цѣликомъ переносились на полотно нашихъ художественныхъ выставокъ. Блестящая и тонкая игра настроеній въ поэзіи Майкова, Фета, Полонскаго точно такъ же ничего не говорила нашимъ художникамъ, и они охотнѣе искали мотивовъ въ какихъ-нибудь сатирическихъ куплетахъ, распѣваемыхъ съ подмостковъ. Объясняется это, конечно, слабымъ образовательнымъ уровнемъ большинства тогдашнихъ художниковъ и отсутствіемъ общенія ихъ съ писателями, составлявшими настоящую литературную силу.

А. О.

